



ЭДВАРД

РАДЗИНСКИЙ



Княжна
Тараканова

Последняя из
Дома Романовых

Э К С К Л Ю З И В Н Ы Е Б И О Г Р А Ф И И

Annotation

Из именного указа императрицы Екатерины Второй генерал-губернатору Санкт-Петербурга князю Александровичу Голицыну: «Князь Александр Михайлович! Контр-адмирал Грейг, прибывший с эскадрой с Ливорнского рейда, имеет на корабле своем под караулом ту женщину. Контр-адмиралу приказано без именного указа никому ее не отдавать. Моя воля, чтобы вы...» В книге Эдварда Радзинского рассказывается о самой загадочной странице русской истории. О судьбе княжны Тарakanовой. Последней из дома Романовых.

- [Эдвард Радзинский](#)
 - [Домики старой Москвы](#)
 - [Несколько точных дат](#)
 - [Действующие лица: «Орлов со шрамом»](#)
 - [Действующие лица: Она](#)
 - [Действующие лица: Рибас](#)
 - [Действующие лица: Екатерина](#)
 - [Секретный агент в XVIII веке](#)
 - [Два рассказа об одной женщине](#)
 - [Двойные игры в галантном веке](#)
 - [Орлов: Сиятельная любовь](#)
 - [Христенек: Чин майора](#)
 - [Орлов: Последние письма](#)
 - [Франциска фон Мештеде: Призрак свободы](#)
 - [Тюрьма в галантном веке](#)
 - [Голицын. Следствие: «Кто она?»](#)
 - [Екатерина в Москве](#)
 - [Голицын: «И все-таки — кто она?»](#)
 - [Екатерина: «Кто она?»](#)
 - [Голицын: «Кто она? Кто она? Кто она?»](#)
 - [Орлов: Дым отечества](#)
 - [Голицын: «Кто она?!»](#)
 - [Опять несколько дат](#)
 - [Тайна Княжны Таракановой: Версия](#)
 - [Эпилог. Последняя встреча](#)

Эдвард Радзинский
Княжна Тараканова

Домики старой Москвы

Слава прабабушек
томных,
Домики старой
Москвы,
Из переулочков
скромных
Все исчезаете вы.

Марина Цветаева

Они прячутся в старых, кривых московских переулках. И там, величественные и жалкие, как состарившийся Казанова, греют на солнце свои колонны — облупившиеся белые колонны московских дворцов XVIII века... Зажатые между огромными домами, они выплывают из времени. Миражи. Сны наяву.

Ах, эти дома желтой охры... античный фриз на фронтоне — гирлянды, веночки, летящие гении, за толстыми стенами — прохладная темнота зала... полукруглые печи, чудом сохранившийся расписной потолок... и вековые деревья за оградой.

В дни молодости моей довелось мне жить в таком доме. И в долгие зимние вечера, когда так чудно падает снег и странно светят фонари, я любил сидеть в своем доме... Осторожно ставил я на стол *тот* шандал...

Как он попал ко мне?.. Как уцелел после всех пожаров, войн, революций и отчаянных скитаний несчастной семьи? Когда-нибудь я расскажу и эту историю... когда-нибудь...

Старинный бронзовый шандал со свечой, загороженный маленьким белым экраном в бронзовой рамке, поставлен на столе.

Я погасил электрический свет, засветил свечу — и побежали по потолку, по стенам зала торопливые тени.

И проступило изображение на экране: у горящего камина на фоне высокого окна сидит молодая красавица. Неотрывно глядит она в небольшой серебряный таз, стоящий у ее ног. В тазу по воде плавают крохотные кораблики с зажженными свечами.

Это старинное венецианское гадание. В тот день она решила узнать свою судьбу. О, если бы она ее узнала!

Как я любил разглядывать ее лицо на старинном экране. Томно склонив головку с распущенными волосами, она глядит в серебряную воду. И плавают, плавают свечи на крохотных кораблицах. И колеблется неверное пламя.

В эту женщину были влюблены самые блестящие люди века. Ее красоте завидовала Мария Антуанетта. И мечтательный гетман Огинский, и властительный немецкий государь князь Лимбург были у ее ног. Ей объяснялся в любви самый блестящий донжуан Франции — принц Лозен. И граф Алексей Орлов, самый блестящий донжуан России...

Тогда, в том доме, я собирал по крохам все, что осталось, о ней.

И, читая полуистлевшие письма истлевших ее любовников, я шептал вслед за ними безумные слова: «Ваши глаза — центр мироздания...», «Ваши губы — моя религия...», «Ваши руки подобны плющу нежности...» Уходят наши тела... Но страсть и любовь остаются.

И все чаще стало мерещиться мне...

Исчезал московский домик Пропадал, тонул в снежной метели.

И видение Санкт-Петербурга: белая петербургская ночь, безжалостный золотой шпиль крепости. И кронштадтский рейд. И силуэты фрегатов в белой ночи.

Несколько точных дат

*Самое
неправдоподобное в
этой истории, что это
правда.*

Джакомо Казанова

*Кто не жил в XVIII
веке — тот вообще не
жил.*

Талейран

В конце мая 1775 года пришла в Кронштадт из Средиземного моря русская военная эскадра. И хотя люди давно не были дома, никому не было дозволено ступить на берег.

Из именного указа императрицы Екатерины Второй генерал-губернатору Санкт-Петербурга князю Александру Михайловичу Голицыну:

«Князь Александр Михайлович! Контр-адмирал Грейг, прибывший с эскадрой с ливорнского рейда, имеет на корабле своем под караулом *ту* женщину. Контр-адмиралу приказано без именного указа никому ее не отдавать. Моя воля: чтобы вы...»

24 мая 1775 года.

Была ночь, но во дворце генерал-губернатора Санкт-Петербурга князя Голицына не спали. Князь Александр Михайлович, грузный шестидесятилетний старик, сидел в своем кабинете. Перед ним навытяжку стоял молоденький офицерик — капитан Преображенского полка Александр Матвеевич Толстой.

Тучный князь тяжело поднялся с кресел, пошел к дверям. Распахнул двери: в маленькой комнате, у аналоя с крестом и Евангелием ждал священник в полном облачении.

— Прими присягу, Александр Матвеевич, — обратился князь к капитану.

— Клянусь молчать вечно о том, что надлежит мне увидеть и исполнить... — звучал в тишине голос Толстого.

— И людей своих к присяге приведешь. И растолкуй им, что, коли хоть

одна душа узнает, — наказание беспощадное... В Кронштадт поплывете ночью... И вернешься с нею в крепость тоже ночью... чтоб ни одна душа...

И князь обнял капитана:

— Ну, храни тебя Бог!

В ночь с 24-го на 25 мая 1775 года.

Яхта с капитаном Толстым и шестью преображенцами с потушенными огнями плыла из Петербурга в Кронштадт. На берегу и на судах, мирно качавшихся на якорях в устье Невы, давно спали.

Глубокой ночью подплыли к Кронштадту Неслышно скользила яхта по военному рейду «Святослав»... «Африка»... «Не тронь меня»... «Европа»... «Саратов»... «Гром»... Стояли на рейде в ночи линейные корабли и фрегаты, залитые призрачным светом.

У шестидесятипушечного адмиральского судна «Три иерарха» яхта замедлила ход.

В каюте капитана Толстого уже ждал контр-адмирал Самуэль Карлович Грейг. — Весь завтрашний день, капитан, вы и ваши люди проведете в каютах. — Грейг говорил по-французски: он был не так давно на русской службе и плохо владел русским. — Ни с кем из корабельной команды не видаться и не разговаривать... И только когда на корабле отойдут ко сну...

Ночь, 25 мая 1775 года.

На темную палубу вывели нескольких мужчин и двух женщин. Одна из женщин одета в черный плащ с капюшоном, глубоко надвинутым на лицо.

— Настоятельно прошу вас, госпожа, — обратился Грейг по-итальянски к женщине, — не открывать лица и не говорить ни с кем до прибытия в назначенное место. Непослушание только ухудшит ваше положение.

Не дослушав адмирала, женщина молча направилась к борту.

Ее усадили в покойное кресло и спустили вниз — на яхту.

Адмирал почтительно помогал ей.

Дважды прозвенели куранты на Петропавловской крепости, когда яхта пристала к гранитным стенам.

В белой ночи на пристани темнела фигура в плаще и треуголке. Яхту встречал сам хозяин крепости — Андрей Григорьевич Чернышев, генерал-майор и санкт-петербургский обер-комендант.

Женщина в черном плаще молча глядела на гранитные стены и беспощадный золотой шпиль...

Арестованных быстро размещали по казематам Алексеевскою рavelина. Захлопывались двери камер, лязгали засовы... И в крепости наступила тишина. Будто ничего и не произошло.

Комендант Чернышев торжественно ввел женщину в просторное помещение, состоявшее из трех светлых и, главное, сухих комнаток, что было большой редкостью в крепости, постоянно затоплявшейся Невой. Сие была его гордость — помещение для особо важных преступников.

Женщина сбросила капюшон — и бешено сверкнули ее раскосые глаза.

— По какой причине осмелились арестовать меня? — яростно выкрикнула она по-итальянски.

26 мая 1775 года, ранним утром, в своем кабинете за бюро с медальоном императрицы князь Александр Михайлович Голицын писал донесение:

«Всемиловитейшая государыня! Известная женщина и свиты ее два поляка и слуги и одна служанка привезены и посажены сего дня в два часа поутру за караулом в приготовленные для них в Алексеевском рavelине места под ответ обер-коменданта генерал-майора Андрея Чернышева...»

Прошло два с лишним года.

В ночь на 5 декабря 1777 года в Санкт-Петербурге стояли лютые морозы.

В Петропавловской крепости куранты уже пробили полночь, когда из Алексеевскою рavelина обер-комендант Чернышев и солдаты вынесли гроб.

Горели факелы. С трудом копали солдаты смерзшуюся землю.

— Копать веселее! — покрикивал комендант.

Все глубже, глубже яма.

Комендант осветил ее факелом, удовлетворенно кивнул.

Солдаты опустили гроб и торопливо забросали мерзлой землей.

На рассвете 5 декабря пошел густой снег. Мело, мело по мерзлой земле.

Из рапорта санкт-петербургского обер-коменданта генерал-майора Андрея Чернышева: «...Означенная женщина волею Божьей умре... А пятого числа в том же Алексеевском рavelине той же командой, при ней в

карауле состоявшей, была похоронена. По объявлении присяги о строжайшем сохранении сей тайны...»

Снежная метель разыгралась над Петербургом. Все потонуло в этой метели: дворцы, крепость. И могила. И к утру не осталось никаких следов — только белое поле у Алексеевскою равелина.

Действующие лица: «Орлов со шрамом»

*Я не поручил бы
ему ни жены, ни дочери,
но я мог бы совершить
с ним великие дела...*

*Граф Федор Головкин.
Портреты и
воспоминания*

Прошло ровно тридцать лет. 5 декабря 1807 года.

В Москве, во дворце графа Алексея Григорьевича Орлова в Нескучном, всегда в воскресенье, ждали песельников да плясунов.

По бесконечной анфиладе дворца движется согнутая фигура — чудовищная огромная гнутая спина в шитом золотом камзоле. Тяжелый стук медленных старческих шагов...

Золотая спина шествует мимо портрета в великолепной раме.

На портрете изображен молодой красавец, увешанный орденами, в Андреевской ленте через плечо, на фоне горящих кораблей. Это сам хозяин дворца граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский в молодые годы. Герой, победитель турок в морском сражении в Чесменской бухте, где перестал существовать турецкий флот.

Горят, горят корабли на портрете...

Именно тогда, в 1770 году, французский посол докладывал из Петербурга: «Алексей Орлов — глава партии, возведшей на престол Екатерину. Его брат Григорий — любовник императрицы, он очень красивый мужчина, но, по слухам, простодушен и глуп... Алексей Орлов сейчас самое важное лицо в России. Екатерина его почитает, боится и любит. В нем можно видеть подлинного властелина России».

Тяжелый стук медленных старческих шагов по анфиладе дворца...

Но это все в прошлом. Нынче графу за семьдесят — и он мирно доживает свой век в Москве, вот уж который год изумляя Первопрестольную безудержным, буйным разгулом...

На Масленой граф со свитой — неперемный зритель кулачных боев между воспитанниками Славяно-греческой академии и университетскими...

С превеликим удовольствием наблюдает Его сиятельство, как с дикими криками, гиканьем сходятся молодые парни в кулачном бою на ледяных горах у кремлевской стены. (Горы заливали на месте нынешнего Александровского сада.)

Когда граф был помоложе, то и сам участвовал...

Ох, как страшились дерущиеся, когда в толпе страшно возникала исполинская фигура! И яростно бросалась в общую потасовку.

«В воскресенье, перед дворцом в Нескучном, граф неизменно устраивает бега своих знаменитых рысаков...»

И мчатся по снежной дороге дивные кони... И пляшут перед дворцом столь любимые Его сиятельством скоморохи да песельники... Потешные драки в снегу между шутами и скоморохами непременно сопровождаются милостивым старческим смехом. «Изволили смеяться...»

Как справедливо сказал о графе поэт: «Дыша всем русским, он до страсти любил отечественные развлечения...»

И сегодня, в солнечный морозный день, в доме графа, как всегда, готовились к веселью — ждали троек со скоморохами и цыганами. И граф тоже готовился...

Все ближе тяжелые шаги по роскошной анфиладе. Испуганные лица лакеев.

Громадная согнутая спина в золотом камзоле повернулась — и на фоне портрета молодого красавца возникло изборожденное морщинами, обрюзгшее лицо старика в парике. Слуга в дверях дрожащими руками аккуратно положил кисточкой пудру на его парик.

И старый граф продолжал свое шествие по анфиладе.

В последнее время у графа Алексея Григорьевича появились большие странности: он стал часто заговариваться и еще развилась в нем необыкновенная тяга к щегольству. Теперь каждое утро граф шел через бесконечную анфиладу, и лакеи кисточками накладывали определенные его сиятельством порции пудры на парик. Ох, не дай им Бог ошибиться! Граф сам исчислил количество комнат, которое ему надлежит пройти, чтобы парик приобрел должный вид.

Двигается согнутая фигура. И в дверях каждой следующей комнаты дрожащий лакей украшает пудрой графский парик. И крестится, когда граф проходит мимо...

Старик миновал последнего лакея и очутился в сверкавшей зале: бесчисленные зеркала в холодном зимнем солнце беспощадно повторяли

морщинистое лицо графа и страшный шрам на щеке. Современники называли этот шрам «знаком предсмертного отчаяния». И с ужасом уверяли, что получен он был в Ропшинском дворце, где граф задушил свергнутого императора Петра Третьего. Но иные утверждали, что сей шрам попросту заслужен графом в пьяной драке. Так или иначе, но, отличая его от остальных четырех братьев Орловых, Алексея Григорьевича прозвали «Орлов со шрамом».

Усмехаясь, старик оглядывал себя в зеркалах — он доволен.

— Отменно... Не стыдно будет на балу сегодня, — обращается он к крохотному старичку в мундире, с Чесменской медалью.

Тридцать восемь лет назад сержант Изотов закрыл грудью графа от турецкой пули в знаменитом Чесменском бою. И теперь доживает век в его доме, являясь нынче основным собеседником того, кто именовался когда-то «властелином России».

— Когда цыгане с плясунами да песельниками придут — пустить их на бал. Она веселье любила, — радостно приказал граф.

— Да какой же нынче бал, Ваше сиятельство? Никакого бала у нас нет, — удивился старый слуга.

— Ан есть, — с торжеством ответил граф. — Пятое число сегодня — ее день... Схоронили ее... В этот день она ко мне на бал каждый год приходит. И сегодня жду... Любила балы. Как же она любила балы! Непременно пожалует.

— Да что ж вы, Ваше сиятельство... Алексей Григорьевич? — прошептал старый сержант.

Граф посмотрел на испуганного старика мутными глазами. На мгновение сознание вернулось к нему.

— Подать мое яблоко, сержант, — приказал он весело.

Старый сержант заулыбался: он любил эту молодецкую шутку. Он достал из кармана заготовленное яблоко. Граф взял яблоко и легко раздавил его двумя пальцами. И счастливо засмеялся.

— Что яблоко! Говорят, вы быка одним ударом прихлопнуть могли, — подобострастно сказал Изотов.

— Да что быка! Я государя императора Петра Федоровича одним ударом... — И бешеные глаза человека со шрамом взглянули на несчастного сержанта. Тот только перекрестился.

И вновь глаза графа помутнели.

— Что же мы тут... гости никак пожаловали? — И граф торопливо пошел к высоким дверям залы.

Он широко распахнул двери и склонился в низком поклоне:

— Матушка государыня к холопу своему... А мы как раз про мужа твоего убиенного... да про «известную женщину» толкуем...

Граф не договорил и вновь склонился в поклоне:

— А вот и консул английский сэр Дик с распрекрасной супругой своей... много способствовал сей англичанин в поимке «известной женщины»... А вот и адмирал Грейг... большие заслуги и у него в этом деле были.

Граф стоял один в пустой зале и бесконечно церемонно раскланивался с пустотой, встречая ушедшую эпоху. А сзади полумертвый от страха Изотов только приговаривал:

— Ваше сиятельство... Ваше сиятельство...

Но граф не слышал. Он видел, как в залу вошла *она*. Как тогда, на корабле, на ней был длинный черный плащ с капюшоном, надвинутым на лицо...

Граф захрипел и упал навзничь на драгоценный паркет.

К дворцу уже подлетали тройки. С визгом и хохотом соскакивали цыгане, удалые скоморохи да плясуны. Обезумевшие люди графа бестолково носились перед домом, разгоняя приехавших.

Граф умирал. Умирал тяжело, в муках. Речь отказала — он хрипел. И глаза его наполнялись слезами. Он лежал на огромной кровати, под потолком, украшенным плафоном «Триумф Минервы»: аллегория триумфа императрицы Екатерины Второй в войне с турками.

На стене висел парадный портрет императрицы: Екатерина со скипетром и короной.

На столике у кровати лежал золотой медальон в форме сердца, осыпанного бриллиантами. Медальон был раскрыт, и внутри него улыбалась все та же императрица.

Только трое во всей России имели право носить такой медальон. Два фаворита императрицы — Григорий Орлов и Григорий Потемкин. И он... Но сейчас этого никто не помнил, и никого это не интересовало. И старый медальон пылился на столе, и старый человек, окруженный императрицами, умирал в постели.

Иногда он забывался. И в забытии слышал собственный голос. И видел лицо деда, так напоминающее чье-то лицо.

— Чье лицо? — прошептал он.

И понял: его лицо... лицо старика, умирающего сейчас в постели.

— Не всегда был я старый, внучек, — говорил дед, — молодой был, да отважный, да забиячливый. И за то прозвали меня товарищи Орлом. А Петр Алексеевич только Россией начал править. И мы — стрельцы — великий бунт против него учинили. Велено нам было голову сложить на плахе.

Он видел...

...как поднимался его дед на плаху... как под ноги деду покатила отрубленная голова казненного стрельца. И, с усмешкой взглянув на усталого палача, уже поджидавшего его с топором, дед, как мячик, откинул ногой отрубленную голову. И, засмеявшись, положил свою — под топор, на плаху.

— Увидел царь — и понравилось ему бесстрашное озорство мое, — слышал он голос деда. — И помиловал он меня. Помни, внучек: до конца имей надежду и смерти не бойся.

— Смерти не бойся, — беззвучно шептали губы старого графа.

Около постели графа сидела Анна, любимая, единственная дочь графа. Ее мать умерла сразу после ее рождения. Сейчас Анне исполнилось двадцать лет.

Анна всматривалась в изуродованное страданием лицо графа. В глазах старика стояли слезы. Он о чем-то просил, что-то хотел сказать. Но она не могла его понять и только умоляюще шептала:

— Что прикажете, папенька?

— Сына просят, — сказал сзади Изотов, — за сыном велют послать.

Старик умоляюще кивнул.

— Пошлите за Александром, — сказала дочь и заплакала.

И опять граф впал в беспамятство. И опять он видел деда своего — старого Орла.

Они стояли перед дедом в ряд, пять красавцев гвардейцев, пять родных братьев.

— Пять братьев вас, пять Орлов... Ты, Гришка, самый красивый, — подмигнул дед Григорию. — Но зато ты, Алешка... — И дед глянул на Алексея. — А ну, покажи нам...

Привели быка. Черный, огромный, бык неподвижно стоял перед братьями. Алексей подошел к быку. Сжал пудовый кулак. И одним страшным, быстрым движением ударил быка меж рогами... Качнулся бык. Рухнул как подкошенный. Крик восторга вырвался у братьев.

— Да, ты самый сильный, — шептал дед, — но ты и самый буйный, осторожки в тебе нет. Но на то, внуки, даден вам брат Иван. — И он ткнул в старшего брата. — Он самый хитрый, и он отца вам вместо. А Владимир да

Федор — младшие, всем вам преданы. Одна душа и одна голова... Покуда вместе будете, никому вас не сломить!

Императрица на потолке улыбалась.

— Сломил... — слышал свой голос умирающий граф, — одна ты нас всех сломил.

И он увидел императрицу совсем молодой великой княгиней на том балу.

— Тогда все ночи танцевали, — усмехнулся старик, — Елизавета села на трон после переворота... Был он ночью устроен... И теперь по ночам боялась спать. И Петербург танцевал, танцевал до утра. Бал... бал...

Они стояли в дворцовом зале — Григорий и Алексей, два красавца — высоченные, в блестящих гвардейских мундирах.

— Ох и хороша великая княгиня. Ей-ей, хороша! — шептал Григорий. Екатерина, танцуя, вдруг обернулась.

— Отметила! — зашептал Григорий и совсем приник к уху брата: — Загадал, коли сейчас еще обернется... Ну, обернись, душа ты моя!

И опять, танцуя, Екатерина мельком взглянула на братьев. И улыбнулась.

— Моя будет, — прошептал Григорий.

— Да ты в своем уме? — лукаво взглянул на брата Алексей. И восхищенно добавил: — Ох, Гришка! Ну враг! Суций враг!

Торжественно раскрылись парадные двери. Вошла высокая, полная, немолодая дама в роскошном платье.

— Императрица... Елизавета Петровна... — несло по зале.

— Модница была... не нашивала одно платье два раза. После смерти остались в ее гардеробе пятнадцать тысяч платьев... — шептал старик.

За императрицей следовал тоже высокий, тоже дородный и тоже немолодой господин: граф Алексей Григорьевич Разумовский — фаворит и, как утверждала молва, тайный муж Елизаветы.

— Вот он, ночной император, — шептал Григорий Орлов брату. — А ведь простым певчим был, грамоты не знал... В хоре его увидела да и влюбилась без памяти. Попал в случай...

За Алексеем Разумовским важно вышагивал господин помоложе, столь же высокий и величественный — граф Кирилла Григорьевич Разумовский, родной брат Алексея, гетман Малороссии.

— А ведь недавно этот гетман свиней пас, — шептал Григорий. — Сам мне рассказывал: когда Алексей фаворитом стал, послал за ним офицера.

А Кирилла решил, что его в солдаты хотят упечь... со страху на дерево залез и три дня там просидел. С голодухи только слез. А теперь — вон они!

Что *случай* делает! — И добавил лукаво: — А ведь они тоже братья и на нас с тобой похожие — такие же здоровенные... Только мы красивее да умнее.

И опять Екатерина, танцуя, взглянула на братьев...

Потом старик увидел Москву, зиму... Бежали сани. В санях они: Григорий и Алексей — молодые, в распахнутых шубах... Проезжали мимо белых колонн дворца на Покровке...

— Тпру! — закричал Григорий. И остановились сани.

Вот он дворец графа Алексея Григорьевича Разумовского. В переулке на холме за дворцом виднелась церковь.

— Церковь Воскресения в Барашах, — усмехался Григорий. — Здесь он тайно повенчался с императрицей... А может, и нас с Катериной когда-нибудь повенчают, да не тайно!

Алексей уставился на брата.

— Моя она, — усмехнулся Григорий, — любит меня без памяти... все сделает, как я скажу...

— Ох, Гришка, — любуясь братом, сказал Алексей. — Ей-ей, сущий враг!

Екатерина, прекрасная, молодая, танцует с Григорием. И открытое безумное женское счастье на ее лице...

Умиравший старик глядел на императрицу на потолке и шептал беззвучными губами: — Ах, эти гордые твои фавориты, они всегда думали, что они выбрали тебя, а это ты их выбирала. Счастливая, ты всегда любила тех, кто был тебе нужен. Нас было пятеро братьев... удалцы-кутилы, любимцы гвардии... И ты взяла Григория и взяла тем нас всех... и всю гвардию. Ты знала: скоро... скоро умрет Елизавета. И тогда муженек, тебя ненавидевший, упечет тебя в монастырь да и женится на любовнице. И ты готовилась... Екатерина Великая... Екатерина Предусмотрительная.

Граф застонал. Изотов и Анна перевернули его на другой бок.

Теперь он видел гроб. В гробу лежала императрица Елизавета. Молодая Екатерина стояла на коленях у гроба, и слезы лились по ее лицу...

— Ты всегда умела плакать, когда хотела, — шептал старик императрице на потолке.

Гвардейцы стеной окружали гроб.

— Ишь как убивается, — сказал Иван Орлов.

— А император, муженек ее, в это время бражничает со своими немцами да с любовницей горбатой, — усмехался Григорий Орлов в другом конце зала.

— Опять немцы сядут нам на голову, — вздыхал Владимир Орлов, окруженный гвардейцами.

— А ведь матушку Елизавету Петровну отцы наши на трон посадили, — тихо начал Алексей и умолк.

— Дело говорит, — зашептали в зале.

Старик вспоминал. Точнее, это не были воспоминания. Просто когда боль отпускала, он уходил в ту жизнь. И жалкое, беспомощное тело, лежавшее на огромной кровати под балдахин, было не его тело... Его тело жило в той жизни — великолепная, мощная плоть...

— Скоро... скоро оно на бойню пойдет, — беззвучно смеялся старик.

Бал в разгаре — первый бал после траура по умершей императрице. Неряшливый, дрожащий старик в старом серебряном камзоле стоял у колонны.

— Лесток, лейб-медик умершей императрицы, — шептал Иван Орлов Григорию и Алексею, — его только что вернули из ссылки... Двадцать лет пух там от голода. А ведь это он когда-то Елизавету на трон сажал. Попомните, братья, как она его отблагодарила.

И еще один старик — в мундире с золотым шитьем, в орденах и лентах — вошел в сверкающую залу.

— Фельдмаршал Миних, — шептал Иван, — и его из Сибири вернули... Двадцать лет подряд господин фельдмаршал, полуголодный, картошку там себе на пропитание сажал. А ведь какую власть имел. Вот до чего тщеславие доводит.

— Ничего, они вернулись, — захохотал Алексей. — По мне, или все — или плаха.

— О плахе для нас, видать, уже заботятся, — усмехнулся Иван. И кивнул на молодого гвардейца, танцевавшего менуэт. Танцуя, гвардеец нет-нет да и поглядывал на братьев. — Адъютант императора Перфильев... Говорят, его к нам приставили, — шептал Иван.

— Ба! Да он же игрок! Уж я-то знаю, как задобрить подобных господ! — смеялся Григорий. — Теперь каждую ночь стану проигрывать ему в карты. И он будет доволен, и император спокоен: ночью мы картами заняты. Ведь по ночам у нас перевороты делаются!.. Но торопитесь, братья, иначе разорюсь!

— Ты прав. — время выступать! — сказал Алексей. — Откроют заговор — только наши головы полетят... Катька Дашкова — сестра родная любовницы государя, ее, конечно, помилуют. Никита Панин каждый день иное говорит, один Бог ведает — с нами он или нет. Кириллу

Разумовского его брат Алексей с плахи за уши вытянет. Сама Екатерина вообще будет ни при чем... Только наши головушки...

— Ага, — засмеялся Григорий. — Если мою первой отсекут...

— Ага, — захохотал Алексей. — Уж я, как дед, пну твою дурацкую голову!

В гвардейских казармах шла большая игра. Играли — Перфильев, Григорий Орлов, офицеры-измайловцы, когда вошел Алексей Орлов. Поманил брата. Весело поманил, будто собираясь поведать о чем-то забавном.

— Я сейчас, господа. — Григорий бросил карты, подошел к Алексею, сопровождаемый внимательным взглядом Перфильева.

Будто рассказывая о веселом и все хохоча, Алексей сказал брату:

— Капитан преображенцев Пассек утром арестован императором. Заговор раскрыт...

— Кто сообщил?

— Никто не ведает... Но откуда-то слух, что арестовали его и раскрыт заговор. Теперь эта сумасшедшая девчонка, Дашкова, носится по Петербургу с этим слухом... Она всех нас под топор подведет. Времени нет, надо действовать. Фортуна за нас: император пьянствует в Ораниенбауме... на скрипиче играет... Екатерина одна в Петергофе. Осталось одно: привезти ее в Петербург и объявить императрицей.

— Слушает, — кивнул Григорий на Перфильева.

— Вижу... вернешься к столу... продолжишь игру... И напои хорошенько, чтоб бела света не видел... Я отправляюсь сей час в Петергоф — за Екатериной. На рассвете жди меня на пятой версте у Петербурга со свежими лошадьми. Ну?

— С Богом, брат, — и до встречи: во дворце иль на плахе.

— Ух, как я пну тогда, Григорьюшко, дурацкую твою голову!

Григорий возвращается к столу. Перфильев вопросительно глядит на него.

— Презабавное амурное дельце предложил мне брат. Но я, как всегда, предпочел игру, — улыбнулся Григорий.

— А я, как всегда, даму, — захохотал в дверях Алексей. — Пожелайте мне удачи... с дамой. — И он весело подмигнул Перфильеву.

Старик шептал, глядя на Екатерину, парящую на потолке:

— Ах эта ночь... Тогда была белая теплая ночь... 28 июня... и двадцать восемь верст надо было проскакать до Петергофа — я отметил это странное сочетание цифр...

Карета, запряженная шестеркой, мчалась по дороге в Петергоф. На козлах — кучер, в карете за занавесками — Алексей Орлов. Рядом с каретой верхом скакал молодой офицер — капитан-поручик Василий Бибиков.

— Послушай, не торопись, береги лошадей, — сказал из кареты Алексей.

— Я люблю Петергоф, Алеша, — мечтательно отвечал с лошади Бибиков. — Там все: статуи, фонтаны, роции — служат увеселению чувств...

— Береги, береги лошадей, Бибиков.

— А коли ударят тревогу, когда подъедем? — вдруг спросил Бибиков.

— Тогда — руби, Васька! — засмеялся в карете Орлов. — Мы должны захватить императрицу.

Подъехали к ограде Петергофского дворца. У ограды ни души — ни караульных, ни сторожей.

— Дворец не охраняем... странно, Алеша, — зашептал Бибиков. — Останься с лошадьми.

И Орлов выпрыгнул из кареты.

Осторожно открыл решетку главного входа. И ступил в парк.

В парке — ни души. Он крался мимо цветника к дворцу «Монплезиру». И здесь ни души.

И тогда Орлов начал хохотать. Он шел по пустому парку и хохотал во все горло:

— Какой же ты болван, батенька... Не охраняется. Это она сторожей сняла... она слух пустила, что Пассек арестован за заговор, чтоб всех нас на дело поднять. А сама ни при чем. Сама будто безмятежно спит. Если заговор сорвется — объявит, что мы увезли ее силой. Ай да Катерина! Ох, врагиня!

Он подошел к «Монплезиру» — маленькому дворцу, построенному еще Петром Великим. Обошел дворец, остановился у потайной двери.

Коли я прав, потаенная дверь в ее покои будет открыта...

Толкнул — и дверь легко распахнулась...

Усмехнувшись, он вошел во дворец.

Торопливо взбежал по лестнице. Рядом со спальней Екатерины — ее уборная. И, проходя, он увидел золотое нарядное платье, разложенное на креслах.

— Ну как же... Сегодня из Ораниенбаума император ее навещает... платье приготовили... Вряд ли кого найдете здесь, батюшка император Петр Федорович.

Распахнул дверь в ее покои. Екатерина спала. От стука проснулась, открыла глаза.

— Пора вставать, — жестко сказал Орлов. — Все готово для вашего провозглашения.

— Как?.. Что?! — играя пробуждение, удивилась Екатерина.

— Пассек арестован. Остальное расскажу по дороге, не время медлить.

— Который час? — спросила она деловито.

— Шесть утра. — И добавил: — Ваше императорское величество государыня Екатерина Вторая.

Она сидела на постели — простоволосая, в сорочке...

Он посмотрел на нее. Она усмехнулась. И тогда...

Старик глядел на акварель над кроватью. Под акварелью стояла подпись: «Отъезд из Петергофа 28 июня 1762 года».

— Англичанин Кестнер акварель эту изготовил. И только для нас с тобой... чтобы помнили мы тот день...

Вот я веду тебя к карете... а этот вблизи кареты стоит — камердинер твой... В воротах твоя камер-фрау... а этот, верхом на лошади, — Васька Бибииков... А это — зеваки, рабочий люд... Не узнали они тебя, оттого шапки у них на головах...

Орлов вскочил на козлы рядом с кучером:

— С Богом!

Карета понеслась в Санкт-Петербург.

Тысячи людей — у храма Казанской Божьей Матери. Гвардейцы теснили толпу. Екатерина в черном платье поднималась по ступеням собора, окруженная братьями Орловыми. За ними — Кирилла Разумовский, Никита Панин, гвардейские офицеры.

Алексей Орлов громовым голосом провозгласил со ступеней:

— Матушка наша самодержица — императрица Екатерина Алексеевна!

Вопли восторга, крики толпы, «ура!» гвардейцев. И под перезвон колоколов навстречу Екатерине вышло духовенство...

Императрица на потолке улыбалась. — Как я тебя знаю. Никто так тебя не знал, матушка государыня, — шептал старик.

Карета с закрытыми занавесями, окруженная гвардейцами, подъехала

к Ропшинскому дворцу. Впереди на лошади — огромный, тяжелый Алексей Орлов. Из кареты вывели низложенного императора...

— Он дал себя свергнуть легко, как ребенок, которого отсылают спать, — шептал старик.

Петр Федорович входит во дворец. Худенький, жалкий, похожий на мальчика, он совсем потерялся рядом с исполином Орловым. Полуобняв за плечи, Алексей Орлов вводит его в спальню — место заточения. — Она поручила мне охранять свергнутого императора... Поручила... зная, что Гришка хочет стать ее мужем, — шептал старик — Но пока был жив этот несчастный выродок, ее законный свергнутый муж, Гришка мужем-то стать не мог... И она все-таки поручила его *нам*. Яснее своей воли не выскажешь!

— Позаботься о нем, Алексей Григорьевич, — говорит Екатерина, — муж он мне все-таки. И не должен он терпеть ограничений ни в чем, кроме свободы. Следи, чтоб не обижали.

— Не изволь беспокоиться, волю твою исполню. Екатерина, не выдержав его взгляда, отворачивается.

Ропшинский дворец окружен гвардейцами. У входа в спальню бывшего императора — гвардейцы со штыками. — Я запер его в спальне, и этот недавний самодур и деспот сразу превратился в жалкого забитого мальчика. Злодеи не умеют достойно переносить несчастья и слабы духом.

— Я прошу вас привезти мою собаку, мою обезьянку и скрипицу, — подобострастно заглядывая в глаза Орлову, просит Петр.

— Чего ж не привезти? Я привез... Я быстро стал лучшим другом этого дурачка. Иногда я над ним... шутил.

В спальне Орлов играл в карты со свергнутым императором.

— Алексей Григорьевич, дозвоьте немного погулять в саду. Душно мне в спальне, какой день без прогулки...

— А чего ж, погуляй, Ваше императорское величество.

И Орлов подмигнул часовым. Петр резво вскочил со стула, по-мальчишески подбежал к дверям. И тотчас часовые скрестили штыки перед его грудью.

— Не пускают, — почти плача, закричал Петр.

— Пропустить императора! — повелительно приказал Орлов.

И опять подмигнул часовым.

И снова Петр опрометью бросился к дверям. И снова солдаты молча скрестили штыки...

— Не слушают! — кричит император.

— Не слушают, — сокрушается Орлов. — Видать, матушка, жена твоя,

не слушать тебя им приказала. Вот ведь какое дело, Ваше императорское величество.

— И очень скоро — шестого июля... *случилось*... — шептал старик.

Упал канделябр... темнота в спальне... яростная возня... и жалкий, слабый крик...

— Горло, горло, — хрипит в темноте Орлов.

— Кончай ублюдка, — пьяно ярится чей-то голос. И тонкий, задыхающийся вопль. И тишина... только тяжелое дыхание людей в темноте.

Старик плакал — он видел лицо императора, освещенное дрожащим светом свечи, нелепо задранную жалкую ногу в сапоге... — Прости, Христа ради... Но не расстались мы с тобой, убиенным. Повстречаться пришлось... Это когда государыня умерла. И Павел — сын ее — на престол взошел. Не твой, ее... Потому что сам ты не верил, что он твой сын. И Павел не верил. И оттого сразу, как сел на трон, обществу стал доказывать, что сын он тебе законный, — любовь к отцу стал выказывать...

1796 год.

В Зимнем дворце старик Орлов, в аншефском мундире с шитьем и Андреевской лентой, стоял перед Павлом. Павел глядел на него с яростной улыбкой.

— Решили мы священные останки отца нашего, государя Петра Федоровича, перенести из Александро-Невской лавры туда, где им покоемся надлежит, — в нашу царскую усыпальницу. И захоронить прах отца нашего рядом с супругой его, светлой памяти государыней Екатериной Второй... Торжественная церемония перенесения праха на завтра назначена. И решили мы оказать тебе великую честь — пойдешь за гробом отца нашего. — Павел пронзительно глядел на Орлова. — Впереди гроба должны нести корону императорскую. Ту самую, которую у него отняли... И я все думал, кому сие поручить?.. Да, да, граф, — *ты* понесешь!

— Великая честь, Ваше величество... Но на длительной службе государыне и отечеству здоровье потерял. Ноги не ходят, а путь длинный...

— Неси! — бешено закричал Павел. И протянул корону на золотой парчовой подушечке.

И я понес...

Двигается торжественная процессия. С трудом передвигая ревматические ноги, несет корону на золотой подушечке старый граф

Алексей Григорьевич.

— Он думал, — шептал старик, — что я со страху... Потому что холоп... А я... как покаяние...

Он задумался и прошептал:

— А может, потому, что холоп?

И старик вновь вернулся в те счастливые времена после переворота.

— Мы все... все тогда могли. И Гришке путь к августейшему браку был открыт.

Императрица на потолке улыбалась.

Избранный кружок императрицы в Зимнем дворце. Никита Панин, Алексей Орлов и Кирилл Разумовский за ломберным столиком играли в карты.

— Мы всем, всем тогда владели! — шептал умирающий старик.

Григорий Орлов, развалясь, сидит на диване. У него сломана нога. Екатерина заботливо подает ему бокал с вином на серебряном подносе.

Григорий выпил, поставил бокал на поднос, с усмешкой оглядел играющих. И вдруг нежно обратился к императрице:

— Как думаешь, матушка, достаточно мне месяца, чтоб с престола тебя сбросить, коли захочу?

Наступила тишина. Екатерина побледнела, молчала.

И тогда Кирилл Разумовский, продолжая игру, сказал как ни в чем не бывало:

— Что ж, наверное, оно и так, Григорий Григорьевич... Только и трех дней не прошло бы, как мы бы тебя вздернули!

Панин засмеялся, улыбнулась и Екатерина — светски, будто ничего не произошло.

Поняла тогда, что сильна уже не одними нами...

И опять он видел торжествующее лицо Григория. — Наша взяла, Алеша, дотерзал я ее, пойдет за меня замуж. Все как мечтали мы с тобой. Завтра князя Воронцова посылает к старику графу Алексею Разумовскому. Указ подготовлен — объявить его Императорским высочеством. Чтоб тайный брак его с Елизаветой сделать явным. И тем дорогу к нашему с Катериной браку проложить. Она говорит: прецедент нужен... Но Воронцов против, и Панин против, и Кирилл Разумовский... Езжай с Воронцовым, Алеша. Боюсь одного его пускать. Ведь к царству идем, брат...

Воронцов и Алексей Орлов поднялись по мраморным ступеням

Аничкова дворца. Вошли в залу.

У горящего камина, спиной к ним, сидел старый граф Алексей Разумовский. Он сидел сгорбившись, смотрел в огонь. На коленях у него лежало раскрытое Евангелие.

— Мы пришли от государыни, — начал Алексей.

— Не трудитесь, молодые люди, я знаю причину вашего прихода, — сказал старик, не оборачиваясь.

Князь Воронцов торжественно развернул лист, украшенный гербами.

— Вот проект указа, объявляющего вас Императорским высочеством... В обмен я должен получить от вас бумаги, удостоверяющие действительность некоего события.

— Государыне известно, что бумаги о совершении тайного брака у вас есть, — жестко перебил Орлов.

Разумовский молча взял проект указа из рук Воронцова. Пробежал глазами. И молча вернул Воронцову.

Все также, не произнося ни слова, он поднялся с кресел. Подошел к комоду, на котором стоял ларец черного дерева, окованный серебром. Отпер ларец. Из потайного ящичка вынул бумаги, обвитые розовым атласом. Атлас аккуратно уложил обратно в ларец, а бумаги начал читать, не прерывая молчания. Прочитав бумаги, перекрестился. И бросил их в горящий камин.

— Проклятие, — прошептал Алексей.

Разумовский опустился в кресло и наконец произнес:

— Я был верным рабом Ее величества покойной императрицы Елизаветы. Ничем более. И желаю быть покорным слугой императрицы Екатерины. Просите ее, молодые люди, о благосклонности ко мне.

— Угадал твое тайное желание проклятый царедворец, — шептал старик императрице на потолке, — и ты знала, что он угадает...

Лицо Екатерины. Улыбаясь, она обращается к Алексею Орлову:

— Ну что ж, почтенный старец оказался всех нас умнее... Тайного брака не было, и шепот о нем всегда был для меня противен.

— Вот после того я захворал... да чуть было не помер с обиды за брата..

Лицо Екатерины склонилось над Алексеем. — Сколько в беспамятстве пролежал. — Она улыбалась благодетельной своей улыбкой. — Доктора вылечить не могут, потому что не знают: богатырь ты — и не можешь жить в праздности... Это брат твой по месяцу кутить может, а тебе без дела нельзя — хвораешь без дела... Войну с турками начинаю. Тебе флот

поручаю — весь флот в архипелаге под твое начало...

Над кораблями взвивается Андреевский флаг. — Не ошиблась, — шептал старик, — отменно выбирала людишек... Это я, Алешка Орлов, который моря-то прежде не видел, шлюпкой управлять не умел, загнал турецкий флот в Чесменскую бухту и сжег турецкие корабли...

Вопль «ура!» из тысячи глоток. Грохочут пушки.

Картина на стене, изображавшая Чесменскую баталию (как много изображений знаменитого боя развешано по комнатам дворца!), надвинулась на умиравшего старика... Исполинская фигура Орлова — на адмиральском судне «Три иерарха» Лицо со шрамом, искаженное бешенством, яростью боя...

А потом на том же корабле он увидел...

Григорий Орлов в фантастическом камзоле, усыпанном бриллиантами, стоял на палубе.

— Гришка?! Ну, красавец! Ну, враг!.. Ты тут зачем? Они обнялись.

— Матушка послала — мир добыть у турок...

— И ты... ее оставил?! Оставил Петербург? С ума спрыгнул?

— Глупец ты, Алеша... Я — все для нее! Я ей руку на спину положу — и уж обмерла... Баба, одно слово! Знаешь, как она величала меня, посылая?.. «Ангел...» «Посылаю ангела мира к этим страшным бородатым туркам».

И он захохотал.

— Прост ты, Гриша, ох как прост... Неужто не понял, что случилось? Она нас *обоих* из Петербурга отослала!

Но Григорий только смеялся.

А потом он получил пакет из Петербурга... Григорий читает письмо — в бешенстве комкает бумагу, топчет ногами. И крик, вопль:

— Лошаде-е-ей!!

И уж карета мчит через всю Россию.

— Гони, гони, — вопит из кареты обезумевший Григорий.

— Куда гнать-то, милок? Во дворце уже другой! — усмехнулся старик.

Улыбающееся благосклонной улыбкой лицо Екатерины. — Я многим обязана семье Орловых. И осыпала их за то богатством и почестями. И всегда буду им покровительствовать. Но мое решение неизменно. Я терпела одиннадцать лет! И теперь хочу жить, как *мне* вздумается. И вполне независимо...

— Уже появился во дворце другой Гришка — Потемкин. Главный

фаворит. Это мы его во дворец ввели когда-то. И за то ненавидел он нас — ох ненавидел! И мы его...

— Что касается вас, Алексей Григорьевич, расположение мое к вам неизменно. Вы по-прежнему являетесь начальствующим над нашим флотом в Средиземном море. И никто по-прежнему не вправе требовать ни в чем у вас отчета. Надеюсь, что пребывание ваше в Италии и впредь будет столь же приятным, — улыбнулась с портрета Екатерина. — Это был приказ: сидеть в Италии, а в Петербург ни ногой. Боялась нас матушка, — засмеялся старик, — Гришку-брата целый год в Петербург не пускала. Потом пустила. А меня — нет. Двое Орловых — слишком много для одного Санкт-Петербурга! Крепко запомнила...

Лицо Григория:

— Как думаешь, матушка, достаточно мне месяца, чтобы сбросить тебя с престола, коли захочу?..

— И вот *тогда*, в Италии... — прошептал умирающий старик.

Екатерина усмехнулась на портрете.

— Никого... Никого ты не любила... ни Гришку Потемкина, ни Гришку-брата... ни всех бесчисленных твоих любимцев случая... И я тогда никого не любил. И оттого мы так хорошо понимали друг друга... пока *тогда в Италии*...

Старик вновь увидел лицо *той* женщины.

Она склонилась над постелью...

Его сын наклонился над постелью — Александр Чесменский, незаконный сын.

— Папенька, Александр пришел... — сказала Анна.

— И румянец у него чахоточный, — беззвучно шептал старик, — *ее* румянец.

— Он не узнаёт, — жалко сказала Анна молодому человеку, — побудьте пока в той комнате, Александр.

— Впору причащать, — сказал сзади Изотов.

— За митрополитом Платоном послали, — пролепетала Анна.

— Тогда в Италии... Тогда в Италии... — шептал старик. — Сколько же я не видел тебя? Тридцать три года. Цифра-то особая... Женщина шла к нему из темноты...

— Он что-то просит, — беспомощно обратилась к Изотову Анна.

— Шандал велят подвинуть, — сказал Изотов, глядя на шевелящиеся губы графа.

Старый сержант поднял бронзовый шандал с экраном, стоявший на бюро.

Перенес к постели. И зажег свечу. На экране проступило изображение *той* женщины. Она сидела у камина и глядела в серебряный таз. В тазу плавали кораблики с зажженными свечами.

Вошел слуга и тихо сказал Анне:

— Митрополит Платон больны-с... Велели сообщить — викария своего пришлют.

— Не захотел!.. Не захотел! — в ужасе шептала Анна.

Старик глядел на экран.

И кораблики в тазу превращались в огромные корабли. Она стояла на палубе, как тогда. В том же плаще с капюшоном, надвинутым на лицо.

Она сбросила капюшон — и страшные, беспощадные, горящие глаза уставились на графа...

Старик захрипел.

26 декабря 1807 года.

Величественный старец сидел за грубой, старинной работы конторкой — митрополит Московский и Коломенский Платон, автор знаменитой «Краткой русской церковной истории». «Этим трудом он достойно завершил XVIII век и благословил век XIX» — так оценил его сочинение великий историк Сергей Михайлович Соловьев.

Митрополит обмакнул перо и записал: «26 декабря 1807 года. Граф Орлов умер. Меня присылали звать... Но мог ли я согласиться по слабости моей?..»

Действующие лица: Она

Был сентябрь 1774 года. В Ливорно на рейде выстроились корабли русской эскадры. Ветер — ветер в парусах кораблей, и белые трепещущие крылья чаек, и трепещущие флаги.

И заполнившая набережную вечная итальянская толпа жестикулирует, хохочет. В разноцветной толпе темнеют широкополые шляпы и черные плащи художников. Похожие на карбонариев, они сидят за мольбертами.

Но вот притихла толпа — все смотрят в море: ждут.

Главнокомандующий русской эскадрой граф Алексей Григорьевич Орлов устраивает небывалое зрелище — «Повторение Чесменского боя».

Дымок на борту адмиральского судна «Три иерарха» — ударила пушка. И загорелся фрегат «Гром», изображавший корабль турок. Крик восторга пронесся в толпе. С набережной было видно, как забегали по палубе «Грома» матросы, пытаясь тушить огонь.

И опять показался дымок на адмиральском корабле, и опять ударила пушка. «Гром» пылал, охваченный пламенем с обоих бортов. Толпа неистовствовала.

Карета, запряженная парой великолепных белых рысаков, въехала на набережную. Слуга распахнул дверцы, украшенные гербами, и в белом камзоле с золотым шитьем восторженной толпе явился сам Главнокомандующий.

Граф почтительно помог выйти из кареты белокурой красавице в пурпурной тунике. Это Кора Олимпика, итальянская поэтесса, увенчанная лаврами Петрарки и Тассо в римском Капитолии, очередная страсть графа. Злые языки утверждают, что сегодняшнее зрелище устроено по прихоти романтической дамы.

Рукоплещущая толпа окружила графа и поэтессу. Простерши руки к морю, белокурая красавица начинает читать стихи Гомера о гибели Трои...

Кровавая туника на фоне моря, горящего фрегата... Божественные звуки эллинской речи... Капризный чувственный рот поэтессы...

Орлов с нетерпением слушал чтение.

Шлюпка уже ждала Главнокомандующего и его подругу, когда рядом с графом возник человек в сером камзоле и широкополой шляпе — сэр Эдуард Монтегю, знаменитый английский путешественник по Арабскому Востоку.

— Позвольте засвидетельствовать самый искренний восторг, граф. Мы видим перед собой картину великого Чесменского боя. И воочию!

— Всего лишь маленький эпизод. — Граф улыбнулся. — В том бою, милорд, был ад крошечный — стоял такой жар от горящих кораблей, что на лицах лопалась кожа.

— В себя не могу прийти! Жечь корабли, чтобы несколько живописцев и одна поэтесса смогли увидеть великое прошлое? Поступок истинного ценителя муз и, конечно, русского барина! У нас, европейцев, кишка тонка!

Желваки заходили на скулах — Орлов нахмурился.

— Ничего, мои матросики сами подожгут, да сами и потушат. В огне учу новобранцев, милорд. Оттого и флот наш победоносен...

И Орлов приготовился покинуть докучливого англичанина, но тот с вечной насмешливой своей улыбкой уже протягивал ему пакет:

— Осмелюсь передать вам это...

Орлов вопросительно взглянул на англичанина.

— К сожалению, граф, мне не велено открыть имя таинственного отправителя. — И добавил лукаво: — Но я проделал путь из Венеции в Ливорно только чтобы выполнить это поручение... Отсюда вы можете заключить, что отправитель... — И Монтегю улыбнулся.

— Женщина, — засмеялся Орлов.

— И поверьте, прекрасная! Ваши успехи у дам заставляют меня с трепетом передавать вам ее письмо. Но что делать — желание повелительницы... — Он вздохнул, и опять было непонятно, издевается он или говорит всерьез. — Да, граф, страсти движут миром — они заставляют одного трястись по пыльной дороге из Венеции в Ливорно, другого жечь корабли. Засим разрешите откланяться...

— Передайте таинственной даме... — начал было граф.

— Сожалею, но вряд ли ее увижу. Я возвращаюсь в Венецию лишь затем, чтобы на рассвете отправиться на свой возлюбленный Восток. Пора! Засиделся в Италии. Все против, и особенно мать. Как все немолодые холостяки, я до сих пор ее слушаюсь... (Его мать, леди Мэри, была одной из знаменитейших писательниц века.) Прощайте. Мои лучшие пожелания в Петербурге другу моему графу Никите Панину. Мы с ним дружили, когда он был послом в Стокгольме. Мудрейший человек...

Хитрый англичанин, конечно, знал, что Панин принадлежал дворцовой партии, много сделавшей для падения Орловых. Орлов оценил укол.

— Завидую людям, у которых нежные матери, — сказал граф. — О заботливости матери вашего друга Панина ходили легенды. Каждый вечер

она обращалась к Богу с одной молитвой: «Господи, отними все у всех. И отдай моим сыновьям».

Граф раскланялся и пошел к начинавшей терять терпение поэтессе. Он помог ей спуститься в шлюпку.

На адмиральском судне «Три иерарха» графа встретил контр-адмирал Грейг.

Зарадили пушку. Граф скомандовал. И очередной снаряд поразил горящий «Гром».

— Шлюпку на воду— спасти несчастных «турок», — распорядился граф.

— Жаль, что фрегат спасти невозможно, — усмехнулся Грейг.

— Отпишите в Петербург: «Сгорел во время учений». Объятый огнем «Гром» погружался в море. Оставив поэтессу на корме читать Гомера, Орлов удалился в каюту.

В каюте он вскрыл объемистое послание.

— Проклятие! Здесь по-французски, — пробормотал граф, вынимая многочисленные листы.

Поразительно! Граф не знал французского. И это при том, что высшее русское общество разговаривало только по-французски. Но граф, выучивший немецкий и итальянский, учить французский отказался. Французский двор был главным врагом России. И в этом нежелании был как бы вызов, патриотизм графа.

Граф перелистал непонятные бумаги. Посмотрел на подпись под посланием. И лицо его изменилось. Он схватил колокольчик и позвонил. Вошел матрос.

— Христенека ко мне. И немедленно!

Граф нетерпеливо мерил шагами каюту, когда вошел Христенек.

Генеральс-адъютант (Главный адъютант) лейтенант Иван Христенек был серб, взятый Орловым на русскую службу. Граф имел право набирать себе людей в Италии и производить их в чины. Особенно много офицеров он набрал среди единоверцев — славян.

— Переведи. — Граф указал на письмо, лежащее на столе.

Христенек взял листы, и на его лице появилось изумление.

— Но это... — начал он еле слышно, — завещание покойной императрицы Елизаветы?..

— Завещание потом, сначала письмо, — в страшном нетерпении

приказал Орлов.

— Здесь есть еще «Манифест к русскому флоту Елизаветы Второй Всероссийской»...

— Письмо! — прорычал Орлов.

— «Милостивый государь граф Алексей Григорьевич! — начал переводить письмо Христенек. — Принцесса Елизавета Вторая Всероссийская желает знать, чью сторону примете вы при настоящих обстоятельствах. Духовное завещание матери моей, блаженной памяти императрицы Елизаветы Петровны, составленное в пользу дочери ее, цело и находится в надежных руках...»

Христенек остановился.

— Дальше, — последовал нетерпеливый окрик графа.

— «Я не могла доселе обнародовать свой манифест, потому что находилась в Сибири, где была отравлена ядом. Теперь, когда русский народ готов поддержать законные права наследницы престола, я признала благовременным торжественно объявить, что нам принадлежат все права на похищенный у нас престол. И в непродолжительном времени мы обнародуем духовное завещание блаженной памяти матери нашей императрицы Елизаветы...»

Граф мерил огромными шагами кабинет:

— Послать за Рибасом!

Христенек торопливо распорядился насчет Рибаса. И продолжал чтение:

— «Долг, честь и ваша слава — все обязывает стать в ряды наших приверженцев. При сем нужным считаю присовокупить, что все попытки против нас безуспешны, ибо мы безопасны и находимся на турецкой Его величества эскадре султана, союзника нашего», — читал Христенек.

— Ну это, Ваше сиятельство, она врет... у нас с султаном мир уже решен и султан сейчас ее к себе не пустит...

Это произнес молодой офицер.

Он как-то неслышно вошел и уже несколько минут незамеченный пребывал в комнате. Поражало его лицо: хищный нос — и добродушная, простоватая, располагающая улыбка.

Это был Иосиф Рибас, испанец, один из интереснейших людей своего времени. Сын кузнеца из Барселоны, он служил в Неаполе, но по каким-то причинам вынужден был оттуда бежать. Был взят Орловым на русскую службу. Осип Михайлович, как теперь именовался Иосиф Рибас, использовался Орловым для самых секретных поручений. Считался одним

из хитрейших людей своего времени. Когда Суворов хотел описать хитрость Кутузова, он сказал: «Его даже Рибас не проведет!» Впоследствии стал адмиралом и участвовал в основании Одессы.

— «Время действовать, — продолжал читать письмо Христенек — Иначе русский народ погибнет. При виде бедствий народа сострадательное сердце наше...»

— Полно читать воровское послание!.. Как подписано?

— «Елизавета Вторая Всероссийская», — прочел Христенек.

Орлов опять принялся ходить по каюте:

— Мне нужны все сведения об этой женщине.

— Ее видел наш майор... Месяца три назад он был проездом в Венеции, — сказал Рибас.

— Как? Значит, о ней давно известно? И мне ничего не сказали? Зачем держу вас на службе?!

— Но я думал... — начал Христенек.

— Что?!

— Я думал, вы знаете, Ваше сиятельство... столько слухов о ней... И в газетах...

— Слухи, газета — ваша работа. А у меня — флот!

— Виноваты, Ваше сиятельство.

— Она уже ко мне смеет писать!..

И тут Орлов остановился, будто пораженный внезапной мыслью. Наконец он сказал:

— А коли это не она?! Не она писала?

Христенек уставился на графа.

— Ох, хитрецы, — опять зашагал по каюте граф. — Недаром Монтегю с графом Паниным дружбу водит... А если от имени злодейки сие послание мои враги из Петербурга составили? Верность мою государыне проверить решили? А то и хуже: уж не хотят ли попросту опорочить меня перед императрицей?.. Немедля! Немедля узнать, где эта женщина! И придется связаться с нею, чтоб обличить происки врагов моих!

Граф посмотрел на молчащего Рибаса и кратко спросил:

— Где она?

Рибас не удивился — он будто ждал этого вопроса.

— Думаю, в Рагузе. По последним слухам...

— Мне уже не нужны слухи, Осип Михайлович, коли есть человек, который это знает точно.

— Кто этот человек, Ваше сиятельство?

— Его зовут сэръ Монтегю. Он сейчас скачет в коляске по дороге в

Венецию.

Рибас молча поднялся.

Действующие лица: Рибас

Рибас скакал на коне по дороге, ведущей в Венецию. Солнце садилось, спала жара, дул свежий ветер с моря. Маленький городок со старым собором дремал на горе в заходящем солнце. Но Рибасу было не до красот — он гнал, гнал коня по дороге. «Как интересно... — размышлял Рибас. — Он сделал вид, что слышит об этой женщине впервые. А о ней, почитай, полгода пишут во всех газетах, говорят во всех салонах. Конечно, знал... Более того, предполагал, что она к нему обратится. А к кому ж ей еще обратиться? Он самый могущественный и самый опальный. В его распоряжении — флот и немыслимые суммы денег... Он может ради прихоти потопить фрегат... И притом ему запрещено то, что дозволено всякому, — вернуться на родину. Говорят, есть приказ: задержать его на границе, коли он без дозволения императрицы...»

Рибас взгляделся: далеко-далеко по дороге ехала карета. Рибас пришпорил коня.

«Итак, он знал, — продолжал размышлять Рибас. — А следовательно, план имел. Часть первую плана он сегодня высказал: проведать, где она, с ней связаться. Для чего? Он решил-де проверить: не задумали ли его опорочить перед императрицей?.. Ну, если он действительно этого боится, ему как раз опасно с ней встречаться... Нет, на самом деле этот человек никого не боится — ни Бога, ни черта... Уж не выиграло ли ретивое: одну императрицу он на трон уже посадил?.. Ох, Рибас, будь осторожен: ты должен понять всю игру, прежде чем в ней участвовать».

Карета сэра Эдуарда Монтегю мчалась в Венецию. Далеко по дороге показался всадник. Всадник приближался.

— По-моему, нас догоняют, сэр, — сказал лакей с запяток.

— И по-моему, тоже: нас догоняют, — невозмутимо ответили из кареты.

Рибас поравнялся с коляской.

— Остановитесь, милорд! У меня поручение от Его сиятельства графа Орлова!

Монтегю не отвечал и внимательно разглядывал Рибаса из окна кареты. Некоторое время они ехали рядом молча. Рибас тяжело дышал, но продолжал гнать вперед лошадь.

— К сожалению, я не имею возможности остановиться, мой молодой друг, — наконец произнес Монтегю из окна кареты, — ибо спешу в

Венецию... Но я готов выслушать вас по пути. — И вечная издевательская улыбка появилась на лице англичанина.

— Граф приказал узнать, милорд, где находится автор послания, которое вы соизволили передать?

— Вы, кажется, в России иностранец, господин... — И он вопросительно посмотрел на всадника.

— Рибас.

— Сейчас много иностранцев, господин Рибас, на русской службе. Им граф может приказывать. А я пока не имею чести...

И Монтегю скомандовал:

— Вперед!

Фореитор ударил по лошадям, карета понеслась по дороге. Рибас тоже прищепил лошадь, продолжая беседовать с англичанином.

— Мне необходимо, милорд... — Он задыхался. — Я не могу вернуться без сведений.

— Какое интересное положение: вы не можете вернуться без сведений. А я не могу их вам дать. Как же нам быть, милейший?

Рибас улыбнулся.

И выхватил пистолет.

Коляска становилась.

— Посмотрите назад, — улыбнулся англичанин. С запяток на Рибаса смотрело дуло пистолета. Рибас расхохотался:

— Значит, остается проверить, кто выстрелит первым. Если я — умрете вы, если одновременно — умрем мы оба, и лишь в третьем случае умру один я. Так как у меня нет иного выхода, я вынужден буду это проверить. Но у вас-то есть: всего одно слово. И вы спасаете, по крайней мере, одного из нас... Я не шучу, милорд.

После некоторого молчания из коляски ответили:

— Вы далеко пойдете, господин Рибас... Она — в Рагузе.

И коляска покатила по дороге.

После демонстрации Чесменского боя перед восхищенными жителями Ливорно Орлов уехал в Пизу. Ливорно давно ему наскучил, и великолепный граф жил в Пизе в восхитительном палаццо Нерви.

В кабинете граф беседовал с Рибасом.

— На обратном пути я завернул в Ливорно, — докладывал Рибас, — и проверил сообщение англичанина. Дело в том, что в Ливорно находится сейчас наш давний друг — рагузский сенатор Реджина. Сенатор подтвердил: сия женщина действительно сейчас в Рагузе.

Рагуза (ныне Дубровник) — маленькое государство на Адриатическом море, подобное Венеции. «Свободные дети свободной матери Рагузы» торговали по всему свету. Рагуза издавна находилась под протекторатом турок. В 1772 году граф Орлов со своей эскадрой вошел в воды республики и потребовал отказа от турецкого протектората. Боясь турок, сенат не согласился. Орлов заявил, что будет бомбардировать древний город. Испуганный сенат отправил депутацию в Петербург. Екатерина послов не приняла, но бомбардировку отменила...

— В Рагузу, — продолжал Рибас, — ее привел случай. Вместе с польским воеводой князем Радзивиллом она плыла из Венеции в Турцию к султану, с каковым имела намерение соединиться. Но сильные ветра отнесли ее в рагузскую гавань... Нынче по причине нашего мира с Турцией вновь отправиться к султану ей никак невозможно. И она обитает в Рагузе. Хотя рагузский сенат, напуганный вами, Ваше сиятельство, делает все возможное, чтобы она оттуда убралась. Страх сената столь велик, что сенаторы даже отписали в Петербург о появлении сей женщины.

— Вот так! — захохотал Орлов. — Значит, уже и в Петербурге о ней знают. Мы узнаем последние... Зачем держу вас на службе?

— Из Петербурга ответили, что нет никакой надобности обращать внимание на побродяжку...

— Узнаю благодушие графа Панина!

Христенек ввел в залу жизнерадостного толстого господина в мундире майора.

— Тучков второй, — представился майор.

— Значит, видел ее в Венеции? — спросил Орлов.

— Точно так, Ваше сиятельство. Она жила в доме самого французского посла.

— Ну, как же без французов-то обойтись? — усмехнулся Орлов.

— Сей посол оказывал ей знаки внимания, почитай, как царствующей особе. С ней общались сам польский князь Карл Радзивилл и граф Потоцкий. Много с ней понаехало поляков. Все с усищами, саблями гремят. Скоро, говорят, будем с нашей принцессой Всероссийской на Москве, как с царевичем Дмитрием. И другие пакостные слова, повторять не хочу.

— И не надо повторять... ты лучше про дело рассказывай.

— Познакомился я там с двумя поляками: с Черномским и Доманским. Усищи у них...

— Ну, про усищи ты уже говорил.

— Садился я с ними в карты играть...

— Все проиграл? — усмехнулся Орлов.

Майор вздохнул:

— Там был еще француз маркиз де Марин, ох злой до карт мужчина. Он при ней служит. Обобрал он меня дочиста. И вот тут она и вошла... Вошла... за ней гофмаршал идет, потому что она еще и герцогиней будет.

— Подожди, — прервал Христенек, — ты же говорил, что ее кличут принцессой Всероссийской.

— Это по происхождению тайному она вроде бы принцесса Всероссийская, а по жениху — замуж она готовится — она еще и герцогиня. Поляки кричат мне: целуй-де ручку у своей законной повелительницы, а я только плюнул... Тьфу — вот вам и весь мой ответ.

Он замолчал.

— И все? — усмехнулся Орлов.

— И все, Ваше сиятельство. Спасибо ноги унес, а то б зарубили.

— Ну что ж, ответил хорошо. Узнал мало, вот что плохо, — мрачно сказал Орлов. — Ну, и как она... с лица?

— Худого не скажу... Красавица. Волосы темные, глазищи горят... И ни на секунду не присядет, все движется, все бежит...

— Понравилась? — усмехнулся Орлов.

— Только в оба и гляди, а то обольстит, — засмеялся майор, — но худа уж больно, пышности в теле никакой...

После ухода майора Орлов сказал:

— Чую, получим мы еще одного Пугачева в юбке, пока граф Панин благодушествует...

И приказал Христенеку:

— Пиши.

Граф начал диктовать, расхаживая по комнате:

— «Всемиловейшая государыня! Два наимилостивейших Ваших писания имел счастье получить. С благополучным миром с турками Ваше императорское величество, мать всей России, имею счастье поздравить. Угодно Вашему величеству узнать, как откликнулись министры чужестранные на весть о мире...»

Орлов остановился и сказал Христенеку:

— В своем письме к нам государыня предполагает, как они *должны* откликнуться. Вот это все дословно в наше письмо и перепиши. Ибо, что матушка предполагает, то и правда.

И он продолжил диктовать:

— «На днях, матушка, получил я письмо от неизвестного лица, о чем хочу тебе незамедлительно донести. Сие письмо прилагаю, из коего все ясно видно. Почитай письмо внимательно, матушка, помнится, что и от

Пугачева воровские письма очень сходились сему письму. Я не знаю, есть ли такая женщина или нет. Но буде есть, я б навязал ей камень на шею, да и в воду... Я ж на оное письмо ничего не ответил, но вот мое мнение: *если вправду окажется, что есть такая суматошная, постараюсь заманить ее на корабли и потом отошлю прямо в Кронштадт.* Повергаю себя к священным стопам Вашим и пребуду навсегда с искренней моей рабской преданностью».

«Как повернул, — с восхищением думал Рибас. — И уже забыты враги, которые хотят его опорочить! Теперь, оказывается, он решил свидеться с нею — только чтоб заманить ее на корабли!.. И все, что он будет делать, чтобы свидеться с *суматошной*, есть лишь служение императрице... Но как же он хочет с нею свидеться!»

На лице Рибаса было искреннее восхищение.

Орлов вдруг пристально посмотрел на Рибаса и сказал:

— Ох, Рибас, хитрый испанец, боюсь, повесят тебя когда-нибудь!

— Сильного повесят, слабого убьют, а хитрого сделают предводителем. Это у нас пословица, Ваше сиятельство, — улыбнулся Рибас.

— Итак, Осип Михайлович, — прервал его граф, — ты отправляешься в Рагузу. И все... все о ней разузнаешь. Откуда она родом?.. Кто с ней в заговоре?.. С кем в отечестве нашем связана?.. Но главное — кто она? Ты понял? Я все должен знать... На глаза ей не попадайся! И будь осторожен.

— Я всегда осторожен, Ваше сиятельство, когда имею дело с женщиной. Ибо женщина есть сосуд греха. Мой отец всегда говорил: «Женишься — бей жену». А я, дурак, спрашивал: «За что ж ее бить, коли я ничего плохого о ней не знаю?» — «Ничего, — отвечал отец, — *она знает!*»

Действующие лица: Екатерина

Рабочий день императрицы

Грязный сумрак петербургского утра в ноябре 1774 года.

В Зимнем дворце, в личных покоях императрицы, в огромной постели спит немолодая женщина, Ангальт-Цербстская принцесса Софья Августа Фредерика, известная под именем русской императрицы Екатерины Второй.

Сейчас ей сорок пять лет. Она родилась в Штеттине, где ее отец, один из бесчисленных немецких принцев, был командиром полка на прусской службе. В четырнадцать лет она была привезена в Россию и выдана замуж за голштинского принца Петра Ульриха, объявленного императрицей Елизаветой наследником русского престола Петром Федоровичем. Софья Фредерика также приняла православие и стала именоваться благоверной Екатериной Алексеевной.

Двенадцать лет назад женщина, спящая сейчас в постели, устроила дворцовый переворот. И стала править Россией под именем Екатерины Второй.

Дворцовый звонарь пробил шесть раз в колокол. Екатерина встает с постели.

День императрицы начинался всегда в одно и то же время — в шесть утра.

Екатерина подходит к корзине рядом с кроватью: на розовых подушечках с кружевами спит собачье семейство — две крохотные английские левретки.

Четыре года назад Екатерина первой в России согласилась привить себе оспу. И тем подать пример подданным. Это был *поступок*, ибо последствия его были недостаточно известны. Но просвещенная императрица обязана была так поступить. И она рискнула — к восторгу своих друзей — французских философов. В память этого события английский доктор, прививший оспу, подарил ей собачек.

Екатерина будит собачек, кормит их печеньем из серебряной вазочки. Левретки сонно едят... Пожилая некрасивая женщина входит в спальню. Это знаменитая Марья Саввишна Перекусихина — первая камер-фрау ее величества, наперсница и хранительница всех тайн. Она первой узнавала о падении одного фаворита и появлении другого... Она — глаза и уши

императрицы во дворце.

— Ну, где же эта Катерина Ивановна? — раздраженно спрашивает Марью Саввишну Екатерина. — Мы ждем ее уже десять минут.

— И что это ты с утра разворчалась, матушка? — строго отвечает Марья Саввишна.

Екатерина покорно улыбается, с нежностью смотрит на Марью Саввишну — той дозволяется так разговаривать с императрицей, с ней Екатерина с удовольствием чувствует себя вновь маленькой девочкой.

«Никого у меня нет ближе этой простой, полуграмотной женщины. Я знаю: она любит меня. В наш век, когда мужчины так похожи на женщин и готовы продать себя за карьеру при дворе, — сколько знатных куртизанов сваталось к Марье Саввишне! Она всем отказала. Не захотела меня бросить... Когда я болею, она ухаживает за мной. А когда она болеет, я не отхожу от нее. Недавно мы заболели обе. Но она лежала в беспмятстве. И я в горячке плелась до ее постели... И выходила! Ибо коли она помрет — у меня никого!»

С золоченым тазом и золоченой чашей для умывания входит заспанная калмычка Катерина Ивановна.

Екатерина сердито вырывает у нее из рук чашку и начинает мыться.

— Заспалась я, матушка, что ж поделаешь, — вздыхает молодая калмычка.

— Ничего, ничего! Выйдешь замуж, вспомнишь меня. Муж на меня походить не будет, он тебе покажет, что значит запаздывать, — говорит Екатерина, торопливо умываясь.

Собачки бегают под ногами.

Эта сцена повторится и завтра, и послезавтра. Но калмычку Екатерина не гонит, Екатерина терпелива и вежлива со слугами. Она не забывает, что еще недавно хотела отменить крепостное право. Но не отменила.

— Будьте добры, Катерина Ивановна, пусть не позабудут принести табакерку и положить в нее табаку моего любимого...

Шесть часов двадцать минут утра на больших малахитовых часах... Екатерина перешла в рабочий кабинет. Быстро выпивает чашечку кофе с сухарями и кормит собак. Собачки сладострастно поедают сухари и сливки. — А теперь идите с Богом...

Уходят калмычка и камер-фрау. Екатерина выпускает собак погулять. Запирает дверь. Садится к столу.

Теперь время ее личной работы. В эти три часа, до девяти утра, она

обычно пишет письма своим любимым адресатам — Вольтеру, Руссо и барону Гримму. Или делает наброски для мемуаров... Или пишет пьесы. Говорят, у ее пьес есть тайный соавтор — писатель Новиков, последователь Вольтера, просветитель. Пройдет время, и императрица посадит своего соавтора в тюрьму. Ибо к тому времени произойдет французская революция, и взгляды просвещенной императрицы переменятся. А писатель Новиков не сумеет переменить своих взглядов. Неповоротливый литератор!

Напевая мелодию французской песенки, Екатерина начинает писать свои письма.

Она в отличном настроении. Ужас последних лет — позади.

«Какие это были годы: Франция толкнула Турцию на войну... Я одерживала победу за победой, но Версаль заставлял султана продолжать кровопролитие... Польша бунтовала... Недавно меня просили предсказать, что станет со странами Европы через тысячу лет. Против слова „Польша“ я написала лишь одно слово: „Бунтует“... Шляхта! Они не захотели королем друга нашего Понятовского — начали бунт. И чего добились? Пруссия и австрийский двор предложили мне поделить польские земли, пока шляхта убивает друг дружку в междоусобию. И пришлось... Иначе раздел случился бы без меня. А тут и подоспел Пугачев: полдержавы было охвачено бунтом. Благодарение Богу — со всем совладали. Победный мир с турками заключен. И разбойник схвачен и ждет казни. А год назад качались на виселицах дворяне — и ждали прихода кровавых мужиков в Москву».

Екатерина отложила перо, взяла листок бумаги со стола — письмо от нового фаворита Григория Потемкина.

Читает с нежной улыбкой. И по привычке делает пометы на любовном письме, как на государственной бумаге.

«Дозволь, голубушка, сказать то, о чем думаю», — читает Екатерина.

«Дозволяю», — пишет на полях.

«Не дивись, что беспокоюсь в деле любви нашей...»

«Будь спокоен», — пишет Екатерина на письме.

«Сверх бесчисленных благодеяний ко мне поместила ты меня у себя в сердце. И хочу я быть тут один».

«Есть и будешь», — пишет Екатерина.

«Потому, что тебя никто так не любил...»

«Вижу и верю».

«Помни: я дело рук твоих и желаю, чтобы покой мой был тобой устроен. Аминь».

«Дай успокоиться чувствам, дабы они сами могли действовать, — пишет на любовном послании свое резюме Екатерина, — они нежны и, поверь, отыщут лучшую дорогу Аминь».

Она вздохнула:

— Я извожу так много перьев, что слуги очень сердятся, потому что я все время прошу новые: я обожаю писать...

Она открывает табакерку с портретом Петра Великого и с наслаждением нюхает табак. Теперь пора приняться за главное. Сегодня она приступает к важнейшему труду — начинает свои мемуары. Она будет писать их всю жизнь на клочках бумаги, чтобы потом соединить вместе. Но так и не соединит. Эти мемуары она пишет для Павла — сына ее и свергнутого ею императора. В них — ее оправдание.

Она расхаживает по комнате:

— С чего начать? Начать с эпитафии: «Счастье не так слепо, как обыкновенно думают люди. Чаще всего счастье бывает результатом личных качеств, характера и поведения. Чтобы лучше это доказать, я возьму два разительных примера: я и супруг мой, Петр Третий и Екатерина Вторая... Я вышла замуж, когда мне было четырнадцать лет, а ему было шестнадцать, но он был очень ребячлив...»

Девочка идет навстречу мальчику в золотом камзоле, она смотрит на него испуганными глазами. А он вдруг показывает ей язык и хохочет.

Девочка и мальчик открывают бал. Они танцуют менуэт...

А потом его увозили...

Огромная фигура Орлова на лошади. Карета с опущенными шторами, окруженная гвардейцами... До сих пор это снится ей по ночам.

Екатерина расхаживает по кабинету. «Я не хотела его смерти, как не хотела раздела несчастной Польши, но... Ты должен понять, мой сын: когда я восприняла престол, флот был в упущении, армия в расстройстве, 17 миллионов государственного долга и 200 тысяч крестьян находились в открытом бунте. Но главное бедствие было — шатание в умах. Ибо на русской земле находились целых три государя... Я люблю эту страну, я обожаю ее язык. Я преклоняюсь перед физическими чертами русских — их статью, их лицами. Я считаю русскую армию лучшей в мире. Я всем сердцем приняла религию этой страны. Я ходила пешком на богомолье в Ростов. Я ненавижу в себе все немецкое. Даже своему единственному брату я запретила навещать меня в России. Я сказала: „В России и так много немцев“. И сказала чистосердечно, потому что давно не чувствую себя

немкой. Но я по-прежнему оставалась немкой, захватившей трон... пока эти два императора существовали. Два лакомых кусочка для всякого рода авантюристов».

По камере разгуливает тщедушный молодой человек. Входит тюремщик с едой. Молодой человек глядит на еду и лает.

«Один император — Иоанн Антонович, свергнутый в младенчестве императрицей Елизаветой, уже двадцать лет сидел в Шлиссельбурге. А другой свергнутый император — мой муж Петр Федорович...»

— Не изволь беспокоиться, матушка. Волю твою исполним, — усмехается Алексей Орлов.

Дворец в Ропше. В спальне Алексей Орлов играет в карты с императором. Вокруг сидят гвардейские офицеры.

«Я знала, что в Ропше собралось много гвардейцев: князь Барятинский, Потемкин, Энгельгардт, актер Волков. Но я не знала, зачем они там. И до сих пор не знаю, что там произошло. Просто 6 июля прискакал князь Барятинский...»

Барятинский вбегает в кабинет императрицы. Бухнулся в ноги, ползая по полу, пьяно, со слезами кричит:

— Беда, государыня!

«Он был совсем пьян!..»

Барятинский, ползая по полу, выкрикивает, обливаясь пьяными слезами:

— Не виновны, матушка... Нервен он был... Игра у нас была... Нервен он был... Лакея грыз... Потом на Алешку Орлова набросился... Все отписал тебе Алешка как есть... Все отписал... Смилуйся, матушка!

И Барятинский сует Екатерине скомканную бумагу.

Екатерина подошла к столу и вынула из шкатулки мятый пожелтевший листок.

«Сохраняю эту нечистую бумагу с кривыми каракулями, всю дышащую безумством и бешенством. Надеюсь, когда ты прочтешь ее, мой сын, она станет оправданием твоей матери...»

В который раз она перечитывает страшный листок:

«Матушка, милосердная государыня! Как мне изъяснить и описать, что случилось... Поверь верному своему рабу. Но как перед Богом скажу истину. Матушка! Готов идти на смерть! Но сам не знаю, как эта беда случилась. Погибли мы, когда ты не помилуешь. Матушка, его нет на свете. Но никто сего не думал. Да и как нам задумать — поднять руки на

государя! Но свершилась беда: он заспорил за столом с князем Федором Барятинским. Не успели мы разнять, а его уж не стало. Сами не помнили, что делали. Все до единого виноваты. Достойны казни. Прости или прикажи скорее кончить. Свет не мил Прогневали тебя и погубили души свои навек...»

— Я не могла их наказать, они были тогда сильны, — она почти кричит. — Я не могла их наказать!..

Она стоит в черном платье, окруженная сенаторами...

«Я была в непритворном соболезовании и слезах о столь скорой смерти императора, ибо всегда имела непамятозлобивое сердце. Никита Иванович Панин и Сенат просили меня не предаваться горю и не присутствовать на погребении, чтобы не подорвать здоровье, столь нужное тогда отечеству. И мне пришлось повиноваться приказу Сената. К сожалению, сразу после погребения начались неосновательные толки. Каковые родили потом злодея Пугачева, объявившего себя усопшим императором...»

И вновь Екатерина положила перо. Расхаживает по кабинету.

«Помни, сын мой: правителю нужна решительность... Чтобы свершать, что должно... и что порой так не хочешь свершать. Решительность — вот главное качество счастливого человека. Нерешительны только несчастные и слабоумные...»

Тщедушный молодой человек ходит кругами по камере. Ходит яростно, как зверь в клетке...

«И со вторым императором как-то само разрешилось... Я поехала навестить его в Шлиссельбург, чтобы облегчить участь несчастного...»

В камере — Екатерина, тюремщик поручик Чекин и тот самый тщедушный молодой человек.

С печалью глядит Екатерина благодетельным своим взглядом на молодого человека.

— Встать перед императором! — вдруг кричит ей молодой человек.

Екатерина будто не слышит и продолжает грустно смотреть на него.

— Ты права. У меня только тело Иоанна, назначенного императором Всероссийским. А душа у меня святого Георгия. Потому вас, мерзейших тварей, видеть не желаю.

И вдруг истошно закричал:

— В монастырь иди! Пока не поздно, разбойница!

Императрица беседует с графом Никитой Ивановичем Паниным.

Граф Никита Иванович Панин, глава Коллегии иностранных дел — один из ближайших сподвижников Екатерины в первые годы ее царствования.

— Поручик Чекин доносит, что арестант совсем безумен, — печально говорит Панин.

— Принц Гамлет тоже объявил себя безумным, — усмехается Екатерина. — И ему верили.

— А телом он крепок, — вдруг, без видимой связи с предыдущим, говорит Панин, — только животом страдает, когда обжирается. Ох, надо в оба глазеть, вдруг кто освободить попытается! Особливо опасно, если Ваше величество из Петербурга изволит уехать. Тогда легко охотники могут найтись. Хотя на сей случай инструкция есть: немедленно порешить арестанта... Ох, боюсь, чего бы не случилось, *когда Ваше величество из столицы куда уедет...*

И опять Екатерина прошла по кабинету. «А потом я уехала в прибалтийский край. И там узнала, что некий злодей, поручик Мирович, пытался освободить несчастного Иоанна. И была исполнена инструкция...»

Камера. На полу лежит Иоанн — тщедушное безжизненное тело. Над ним стоит долговязый Чекин. Вздохнув, за ноги оттаскивает труп в угол камеры.

Панин докладывает императрице:

— Сенаторы не верят, что Мирович действовал один... хотят ребра у него пощупать, пытать предполагают, чтобы сообщников узнать.

Екатерина отвела глаза от умоляющего взгляда Панина.

«Я приказала отговорить сенаторов. И Мировича казнили без пытки. Я так и не знаю, подстроил ли Панин заговор Мировича, чтобы непрошеной помощью избавить меня от несчастного Иоанна. Или через Мировича пытался возвести на престол этого слабоумного, чтобы осуществить свою бессмысленную мечту — создать в России западную конституционную монархию. Или действительно не имел к сему заговору никакого отношения... Я предпочла не знать правду. Слишком мало у меня таких людей, как граф Панин...»

Усмехающееся лицо Панина...

«Он первым стал в оппозицию к Орловым. Первым понял, как я ими тягочусь. Жаль, что он до сих пор бредит западной монархией. Он слишком долго был посланником в Швеции. Но я всегда помню; граф Панин — блестящий человек...»

Екатерина пишет. «Ни Петр Третий, ни Елизавета не подготовили мне министров для новых задач, стоявших перед страной. Они обходились надутыми посредственностями. Я призвала к управлению целую когорту блестящих людей. И я дала им возможность совершать великие дела, ибо знаю: не только люди делают дела, но и *дела* делают людей...»

«Но ох уж эти „блестящие люди“! Все эти Панины, Орловы... У них всегда есть свои цели. И ради них они борются друг с другом, а я должна скакать меж ними курцгалопом и следить, чтобы каждый новый „блестящий“ имел достаточно сильного соперника. Но для укрепления державы куда нужнее люди просто трудолюбивые. *Исполнительные*... И эти люди — теперь моя опора. А из блестящих мне с головой хватает нынче Григория Александровича Потемкина».

Часы на камине бьют девять: дама и кавалер на часах танцуют менуэт.

Время работы для себя закончено. Наступило время для государства. Она возвращается в спальню.

Екатерина в белом широком капоте и в белом тюлевом чепце. Входит секретарь со множеством бумаг.

Определяется содержание дня. Выслушиваются важнейшие доклады.

Екатерина надевает очки.

— Вам еще не нужен сей снаряд? — спрашивает она с усмешкой секретаря. — А мы на долговременной службе отечеству притупили зрение...

В спальню входят сановники, обер-полицмейстер. Екатерина подписывает бесконечные бумаги, когда появляется человек средних лет, приятный, спокойный, предупредительный. Это Александр Алексеевич Вяземский. Он из новых, исполнительных бюрократов. Генерал—прокурор. Душа ретроградной партии, ненавистник реформ и враг всякой иностранного влияния. Он таков, ибо этого хочет императрица, чтобы иметь противовес графу Панину, любителю реформ и стороннику иностранного влияния. Екатерина любит равновесие.

Просмотрите план дня, Александр Алексеевич...

Часы на камине пробили двенадцать. В официальной уборной Екатерина завершает туалет. Она одета в простое широкое «молдавское» платье. Старый парикмахер Козлов заканчивает прическу императрицы. За ушами букли, волосы забраны кверху, чтобы открыть широкий лоб. И никаких драгоценностей. Сейчас Екатерина — правительница.

Втыкают последние шпильки в ее прическу. Одновременно она продолжает решать государственные дела. В уборной толпятся сановники.

Входит граф Панин.

— Уж не стряслось ли что-нибудь, Никита Иванович? Вы сегодня поднялись непривычно рано, — насмешливо говорит императрица.

— Пришло письмо, Ваше величество, от графа Алексея Григорьевича из Италии.

— Разбор иностранной почты назначен на два часа — не будем ломать наш распорядок.

Панин молча кланяется.

«На днях я шутила: угадывала, кто от чего помрет. Про Панина я сказала: „Этот помрет от одной из двух причин — коли ему надо будет или поспешить, или рано встать. И тем не менее сегодня он встал. Да, в чем-то сильно провинился его вечный враг Орлов... Он просто помирает от нетерпения нам рассказать... Ничего, потерпишь, голубчик!“»

Часы на камине пробили час — дама и кавалер танцуют свой менуэт.

Время обеда. Обедает она «просто и скромно, в узком кругу».

За огромным роскошным столом собралось два десятка вельмож. Среди них Панин, Вяземский, Голицын, Кирилла Разумовский.

Место справа от императрицы пусто. Это место фаворита. Нынешний фаворит Потемкин — в Москве.

«Раньше за этим столом сидели блестящие люди, теперь — исполнительные. Только, пожалуй, граф Панин сохраняет детскую страсть высказывать собственное мнение. Вещь полезная для державы в дни трудностей и излишняя в дни благоденствия. И нынче я держу его только для одного — участия в придворных интригах. Ибо пока они борются и ненавидят друг друга, я сильна... Итак, он готовит что-то против Орлова. А мы покажем, как ценим графа, — и тем немного раззадорим его. Эти блестящие люди так легко становятся детьми, когда воюют друг с другом...»

За столом идет беседа о государственных делах.

— Я отписала в письме к графу Орлову, — говорит Екатерина, — кто и как, по нашему суждению, воспринимает наш мир с турками. Англичане рады, конечно, они наши союзники. Ну, а прочие разные виды имеют...

Французы в большом прискорбии — яд, ими испускаемый, действия не дал. Да и Фридриху прусскому не удастся более прибирать чужих земель как было, пока мы с турками воевали... И теперь я с нетерпением жду ответного послания графа. Я так ценю его меткие суждения... — Все это она говорит, поглядывая на Панина. — Кстати, Никита Иванович, вы,

кажется, сказали...

— Именно так, Ваше величество. Мы получили важное письмо от графа, — с непроницаемым лицом отвечает Панин. — И сегодня я буду иметь честь доложить вам о том...

На часах — два часа дня. В рабочем кабинете императрицы — граф Панин, князь Вяземский. Князь Вяземский, как всегда, молчит. Разговаривают Екатерина и Панин.

Теперь с двух до четырех она будет разбирать дипломатическую почту: донесения русских дипломатов, секретных агентов, письма европейских государей. К четырем, когда заканчивается рабочий день, Екатерина будет трудиться уже десять часов.

Панин мягко кладет перед ней пакет.

— Письмо графа Орлова из Ливорно.

— Будьте добры, где мой снаряд?

Секретарь подает очки.

— Ну, и что же пишет граф? — надевая очки, со своей вечно ласковой улыбкой спрашивает она Панина.

— В начале письма граф обстоятельно рассказывает, как откликнулись европейские государи на наш мир с Турцией. И, надо сказать, совершенно повторяет справедливые высказывания Вашего величества, — без выражения произносит Панин.

— Мы с графом редко расходимся во мнениях, — улыбается Екатерина.

— Ну, а в дальнейшем...

Панин замолкает, потому что Екатерина начинает читать. Лицо ее багровеет, она вскакивает со стула и начинает быстро шагать по кабинету.

«Я называю вулкан Этно своим кузеном, ибо очень вспыльчива. Но я умею подавить это в себе. В эти минуты я никогда не подписываю никаких приказов. Я попросту хожу и грубо ругаюсь...»

Екатерина мечется по кабинету, залпом пьет воду из стакана.

— Ах, каналья... Ах, бестия... Грязная каналья!.. Нам нет покоя... Только разделились с одним вором... Теперь нам создают другого Пугачева! И когда же это кончится?!

— Государыня, — мягко начинает Панин. — В свое время я докладывал о предложении сената рагузского выслать самозванку. Но вы в милосердии своем просили не замечать эту побродяжку, хотя я был тогда иного мнения.

— Тогда мы могли и не заметить эту авантюре-ру... — Екатерина уже взяла себя в руки и говорит как обычно, доброжелательно и спокойно. — Тогда о побродяжке писали только иностранные газеты, которых, слава Богу, у нас в России не получают. Разве что в Коллегии иностранных дел. Но теперь эта каналья, всклепавшая на себя чужое имя, дерзнула обращаться к российскому флоту. Я не хочу, чтобы, к радости врагов наших, у нас за границей объявился новый Пугачев!

— И вот здесь, Ваше величество, — Панин торжествующе помедлил, — мне кажутся особенно сомнительными меры, которые по сему поводу предлагает граф Алексей Григорьевич. Особенно тревожит меня план графа войти в сношение с авантюрой.

Екатерина разгуливает по кабинету.

«Ах, мои „блестящие люди“! Как же вы все ненавидите друг друга! Если бы я вас слушала, я должна была бы казнить каждого из вас... И все ж таки в точку попал на этот раз — сама тревожусь!.. Видать, не выдержало ретивое у Алексея Григорьевича. Да, он всегда имеет две тетивы на одном луке!»

Панин, чуть усмехаясь, выжидающе глядит на императрицу.

«Не дожدهшься, не в обычае моем выдавать одних слуг другим...»

Екатерина милостиво улыбнулась:

— Граф Алексей Григорьевич служит нам как умеет, и рвение его похвально. Но я согласна с вами: надо предложить графу совсем иные меры. Рагузская республика достаточно от нас страху имеет. И посему отпишите графу: *не входя в сношения с сей женщиной, немедленно потребовать у сената ее выдачи. И если на то не последует согласия, бомбардировать город. И, захватив известную женщину, посадить ее на корабль и отправить в Кронштадт...*

Екатерина осталась в кабинете с князем Вяземским. В течение всей беседы с Паниным князь пребывал в совершенном молчании.

— И что ты думаешь о деле, Александр Алексеевич?

— Думаю, кому следствие поручить, когда захватим сию женщину, — после долгого молчания ответил Вяземский.

— Не слишком ли далеко вперед глядишь? — усмехнулась Екатерина. И добавила, помолчав: — И ты действительно веришь графу Алексею Григорьевичу?

— Уму его верю, матушка государыня. Граф Орлов свою выгоду всегда поймет. Может, не сразу, но поймет. Привезет он тебе авантюру!

Секретный агент в XVIII веке

Ночные ласточки
Интриги —
Плащи! —
Крылатые герои
Великосветских
авантюр.
Плащ, щеголяющий
дырою,
Плащ игрока и
прощелыги,
Плащ Проходимец,
плащ-Амур.
Плащ, шаловливый,
как руно,
Плащ,
преклоняющий колено,
Плащ, уверяющий
— Темно!
Гудки дозора. —
Рокот Сены. —
Плащ Казановы,
плащ Лозэна,
Антуанетты
домино!

Марина Цветаева

Рагуза.
Великолепный дом стоит у самого моря.
В саду Рибас разговаривал с хозяином.
— То есть как бежала? — изумляется Рибас.
— А вот так — бежала! — в отчаянии восклицает хозяин. — Вчера ночью все они были: гофмаршалы, бароны, маркизы, принцесса... Утром просыпаюсь — никого! Ни баронов, ни маркизов, ни денег за дом и за карету. Я разорен, я разорен!

— Успокойтесь, любезнейший... И постарайтесь рассказать по порядку.

— Все началось с того, что из Венеции приехал к ней проклятый маркиз де Марин... — начал несчастный хозяин.

— Маркиз де Марин? — переспросил Рибас.

Венеция.

Через неделю, ночью, в некоем доме, стоявшем весьма далеко от Большого канала, шла крупная игра.

За столом сидел человек в маске, напротив него — Рибас. Кучка золота около Рибаса быстро таяла. Человек в маске выигрывал и при этом все время болтал, обращаясь к французским офицерам, наблюдавшим за крупной игрой:

— Мой друг герцог Лозен как-то назначил свидание одной даме. Дама сказала: «Ну что ж, я готова увидеть вас сразу после утренней мессы». — «Как? Разве еще служат мессы по утрам?» — удивился Лозен. Оказалось, он никогда не вставал раньше двух часов пополудни и оттого двери собора видел всегда закрытыми. Вы проиграли еще пятьдесят золотых, мосье!

— Извольте получить. — Рибас отсчитал и простодушно добавил: — Кажется, я догадался, кто была эта дама...

Игра продолжалась.

— Она только что явилась тогда в Париже, — вздохнул человек в маске. — Как она была хороша! Гетман Огинский — он был тоже у ее ног — сказал: «к стыду Европы, только Азия могла родить подобное совершенство». Тогда мы все думали, что она из Персии...

— Послушайте, безумец, вы можете говорить только об этой женщине, — сказал один из офицеров.

— И вот в Париже герцог Лозен, гетман Огинский и ваш покорный слуга начинают ухаживать за таинственной принцессой. И всем нам всячески мешает некий барон Эмбс. И тогда Лозен и я выкрадываем ночью из дома несчастного барона и везем в карете прочь из Парижа. При первой смене лошадей барон высовывается из окна и вопит, что его похитили. Лозен объясняет, что это опасный сумасшедший. И мы везем его дальше, пока он не клянется впредь не мешать нам... — И человек в маске обратился к Рибасу: — С вас еще десять червонцев...

Рибас небрежно подвинул к нему деньги. Теперь на столе возле Рибаса осталось несколько жалких монет.

— Вот вы восхищаетесь Лозеном... — вдруг сказал Рибас.

Герцог Лозен — донжуан XVIII века. Через двадцать лет, во время

французской революции, он окончит жизнь на гильотине...

— А я знал человека, который здорово надул самого Лозена, — продолжал Рибас. — Это был некто Рибас — большой пройдоха, проживавший в Неаполе. Надо сказать, что Лозен влюбился тогда в неаполитанскую кокетку дьявольской красоты. Пригласил ее к себе. Дама пришла. Лозен — весь страсть — протягивает ей кошелек. Дама закатывает ему пощечину: «За кого вы меня принимаете, сударь!» И кошелек летит в окно! Лозен падает на колени, в ход идут его знаменитые бриллианты... Излишне говорить, что весь фокус придумал друг сердца дамы, Рибас, который стоял под окном и ловил кошелек...

Все захохотали, и человек в маске куда более внимательно взглянул на рассказчика.

— Ох, сколько историй про этого Рибаса! В Неаполе вообще никто не мог понять, что действительно сделал Рибас и что ему приписывают. У него было восемь дуэлей, и все на разном оружии. Он убивал на шпагах, пистолетах, саблях — любил разнообразие. Кажется, после девятой дуэли ему пришлось бежать... — Рибас бросил карты. — Я проиграл все!

Человек в маске придвинул к себе остальные золотые.

И тогда Рибас прибавил:

— Не могу расстаться с вами, не поведав вам маленький секрет в благодарность за игру.

Человек в маске как-то нехотя отошел с Рибасом.

— Я люблю Венецию еще за то, что все благородные люди носят здесь маски. Это очень удобно, особенно если ты решился на опасную любовную интрижку... или сплутовать в карты.

— Что вам надобно, сударь?

— Сообщить, что вы можете снять маску, маркиз де Марин! И еще: вы плохо играете, — зашептал Рибас. — Даже когда вы отвлекаете своими рассказами, все равно видно, как вы передергиваете...

— Послушайте, милостивый государь...

— Рибас — так меня зовут, — и сейчас я дам вам пощечину, маркиз. Это во-первых. Объявлю, что вы шулер, это во-вторых. После чего я вас убью на дуэли. Согласитесь, даже одно из трех...

— Что вы от меня хотите?

— Полезный вопрос. Вы почувствовали, что я от вас что-то хочу. Я хочу, маркиз, чтобы вы с нами побеседовали о женщине, о которой вы столь легкомысленно повествовали сегодня. Но это напускное. Мне известно, что вы бросили ради нее имение, Париж. И ездите за ней по всему свету. Итак вопрос: куда она уехала из Рагузы?

— В Турцию.

— Дорогой маркиз, после того как турки заключили мир с Россией... Это несерьезный ответ. Повторяю: куда она уехала?

— Она села на корабль с двумя поляками — Доманским и Черномским и неделю назад отплыла в неизвестном направлении.

— Вы шулер и обманщик не только в игре, Ваша светлость. Вы помогли ей бежать от долгов из Рагузы. Вы наняли ей корабль. В последний раз, маркиз... — Рибас поднял руку.

— Она в Неаполе.

— Браво, но это был всего лишь пробный вопрос, чтобы проверить, готовы ли вы со мной сотрудничать. Я узнал об этом без вас! Итак, сейчас вы подробно расскажете мне все, что о ней знаете. И не дай вам Бог сблефовать.

— Сейчас?!

— Мы живем в торопливый век, маркиз. Я жду.

— Будьте вы прокляты!

— Это обычное начало в разговоре с Рибасом. Итак, впервые вы встретили ее в Париже...

Два рассказа об одной женщине

Версальский дворец — летняя резиденция французских королей. Ночь. В Бальной роще Версаля зажжены канделябры. Бьют фонтаны... И в этой бальной зале под звездным небом в мерцающем свете сотен свечей в летнюю ночь 1772 года — танцевали.

Фантастические колокола-кринолины, обнаженные плечи, таинственные черные мушки на смелых декольте дам, немыслимые каблуки, парики и камзолы...

Они движутся в манерном менуэте, величественно и медленно, как корабли.

Проплывают высокие, как башни, прически дам.

...Прическа в виде сражающихся солдат — дама желает показать, что преисполнена мужества.

Прическа в виде мельницы и фермы с крошечными коровами, пастухами и пастушками — эта дама — мечтательница.

Прическа в виде дуэли: два миниатюрных кавалера на голове дамы поражают друг друга шпагами — дама кокетливо выставляет напоказ свои успехи.

Парикмахер и портной были героями времени. И самые знаменитые художники придумывали парижские туалеты. «Если даме пришла мысль появиться в ассамблее, с этого момента пятьдесят художников не смеют ни спать, ни есть, ни пить», — писал Монтескье.

Величавая пышность расцвета галантного века: ярко-красные, темно-голубые, затканые холодным золотом камзолы и платья соседствуют с новомодными: светло-голубыми, матово-зелеными, нежно-телесными, будто потерявшими силу цветами — любимыми цветами парижской моды накануне революции.

В это время в моду вошел «блошиный» цвет. Было создано полдюжины его оттенков. Они наименовались: «цвета блохи», «цвета блошиной головки», «цвета блошиного брюшка», «цвета блошиных ног» и т. д. А мадемуазель Бертен, модистка Марии Антуанетты, ввела в моду цвет «блохи в период родильной горячки».

Так они развлекались за два десятилетия до гильотины.

В этой безумной толпе выделяется молодая красавица в нежно-голубом платье и прическе с кроваво-красными перьями.

Перья! Недавно их ввела в моду сама Мария Антуанетта. Шокирующе простая прическа нового поколения.

И еще одна пара. Молоденькая красавица в изумрудных перьях танцует менуэт с очаровательным юношей: Мария Антуанетта и герцог Лозен... Через двадцать лет оба они умрут под ножом гильотины, как и большинство тех, кто здесь танцует.

Но сейчас они танцуют...

Мария Антуанетта что-то шепчет Лозену, кивая на красавицу с кроваво-красными перьями.

— Весь Париж говорил тогда о ней, — вздохнул маркиз де Марин. — Меня познакомил с ней сам герцог Лозен...

Красавица с кроваво-красными перьями стоит на фоне Версальского парка... Белый мрамор статуй... Горят бронзовые канделябры... И звездное небо 1772 года...

Лозен, склонившись в изящном поклоне, целует у нее руку.

— Я хочу представить вам, принцесса, моего друга: маркиз де Марин.

И вот уже маркиз склоняется в поклоне.

— Ее высочество Али Эмете, принцесса Володимирская...

Отойдя в сторону с Лозеном, де Марин говорит:

— Какой странный титул у этой красавицы!

— Милый друг, — отвечает, смеясь, Лозен, — сейчас Париж полон странных титулов. Множество несуществующих герцогов, набобов, принцесс. Париж — это Вавилон...

Сверкающие глаза принцессы глядят на де Марина...

Я почувствовал, что погиб! На следующий день я начал узнавать, кто она. Я бросился к тем, кто знал все обо всех — к парижским банкирам.

Господин Маса, полненький субъект в модном тускло-зеленом камзоле, беседует с де Марином:

— В Париже все выдают себя за других. Всеобщая ложь — в этом весь наш век. И это плохо кончится. Но клянусь: она принцесса. Только очень знатная дама может быть такой мотовкой. Сколько ни дашь — все исчезает. Нет, я с удовольствием ссужаю ей деньги и, уверен, не прогадаю. Она обещает наградить меня орденом Азиатского креста. Ордена — моя страсть.

Господин Понсе, желчный господин в мятом, вытертом камзоле, сердито объяснил де Марину:

— Все, что она болтает, — сказки для детей. Я не дам ей ни ливра. Точнее, дам, но немного. Она в моде в Париже. А я не имею права

отставать, если другие глупцы дают... Да, я уж навел о ней справки. Она приехала в Париж из Лондона. Потратила там такую уйму денег, что просто потрясла бедных англичан. Английские банкиры тоже навели справки. Я выяснил, что особа, весьма на нее похожая, года два назад объявлялась в Генте, где совершенно свела с ума молодого купца. Он бросил жену и детей и со всем своим состоянием бежал вместе с этой особой. По описаниям, он очень похож на некоего барона Эмбса, который живет в ее доме и которого она представляет «интендантом своего маленького двора». Клянусь, он такой же барон, как она принцесса Володимирская...

— И на следующий же день я был в ее доме!

Бал в доме Али Эмете: негры в белых чалмах неподвижно стоят у дверей бальной залы.

Принцесса сухо и строго обращается к де Марину:

— Ступайте за мной, маркиз.

В будуаре она начинает гневную речь:

— И вы осмеливаетесь говорить, что влюблены, что потеряли голову?! О, вы, французы, умеете терять голову, не теряя! Ваши страсти дают вам наслаждение, избавляя от страдания. Бедные, вы не знаете, что истинная страсть начинается со страдания. Вы, ежедневно атакующий меня письмами о любви, спешите к банкирам — собираете обо мне нелепые сведения! Да, вы умеете летать, оставаясь на земле!

Де Марин упал к ногам принцессы.

— Милый друг, — сказала она вдруг, смягчившись, — в следующий раз, если захотите узнать что-нибудь обо мне, позволяю обращаться прямо ко мне. Мне двадцать один год, за это время я испытала много несчастий, но они не сделали меня менее искренней...

— Она говорила и в это верила. Она всегда верила тому, что выдумывала... И она всегда была разная. У нее были не только разные имена, но, клянусь, и разные лица!

Лицо принцессы — прекрасная голова на высокой лебединой шее...

— Вот ее волосы кажутся совсем черными, и глаза становятся как уголь — и она персиянка... Но вот ты видишь, что на самом деле ее волосы темно-русые, а лицо — с нежным румянцем и веснушками. И она славянка, клянусь! А вот она повернулась в профиль, и этот хищный нос с горбинкой, и этот овал... она уже итальянка, дьявольщина!

— Встаньте, маркиз, — принцесса усадила де Марину рядом с собой, — я умею ценить даже то небольшое, что способны дать мне люди.

— Слезы, клянусь, были на моих глазах. И в этот миг, если бы она повелела, я убил бы себя... Проклятие!

— Возможно ли, Ваша светлость, вы прощаете меня?

Она протягивает руку — и смиренно, в низком поклоне он целует ее руку.

— В знак нашей дружбы я сама расскажу вам свою историю... Я редко ее рассказываю... Здесь, в Париже, в безопасности, она кажется мне невероятной. Но за двадцать один год жизни я уже выучила: правда всегда неправдоподобнее лжи. И ложь всегда стремится походить на правду.

Вошел бледный молодой человек.

— Я хочу, чтобы вы стали друзьями. Это барон Эмбс, — представила юношу принцесса, — интендант моего маленького двора. До того как стать моим интендантом, он прославился храбростью в славном литовском войске. И даже получил чин капитана.

— Как мне стало стыдно за все рассказы про «голландского купца». Только потом я узнал, что патент на звание капитана был выдан юному барону в Париже... Тысяча чертей!.. По просьбе принцессы литовским гетманом Огинским!

— А теперь оставьте нас, барон, — сказала принцесса. И молодой человек так же молча, как явился, исчез в дверях. — Бедный мальчик, — вздохнула принцесса, — он ревнив, потому что молод. Он еще не знает, что любовь должна прощать все... — Она помолчала. — Итак, вы хотите узнать мою историю, — начала принцесса. — Моя мать... Впрочем, пока это не важно...

— Как она умела дразнить этой неопределенностью!

— Я воспитывалась в Киле — столице Голштинии. От воспитателей моих я и узнала, что происхожу из древнего рода князей Володимирских. Что мои родовые поместья по каким-то причинам конфискованы. Но в дальнейшем должны быть мне возвращены. Потом, в силу тайных обстоятельств моего происхождения — о них сейчас не время говорить, — я была схвачена и увезена в Сибирь. И даже отравлена там. — Ее глаза вспыхнули — она будто видела свое прошлое. — Но Господь защитил меня: моя нянька бежала со мной через границу в Багдад. Там мы нашли приют у купца Гамета, которому ведомо было мое истинное происхождение. У него в доме я познакомилась с Али — персидским князем. Это один из богатейших людей на свете... Он умолял меня разрешить ему считаться моим дядей и покровителем, пока я не получу предназначенные мне от рождения княжества Володимирское и Азовское.

Он и дал мне свое имя — Али Эмете. Потом в его стране начались волнения. Он увез меня в Лондон. Но в Лондон за ним приехал гонец: обстоятельства звали его домой. Он оставил мне огромные деньги, чтобы я тратила их и ни о чем не думала. Чтобы я могла жить согласно своему истинному происхождению. и я их тратила и трачу до сих пор. Очень скоро он должен вернуться и заплатить мои действительно огромные долги, о которых вы изволили справиться. Вот все, что я пока могу рассказать.

— Я вас люблю, — опустив голову, тихо сказал де Марин.

— Нет, друг мой. Вам это только кажется. Любить — это значит верить. Как Христос завещал: «Кто любит меня, тот верит мне». Учитесь верить... верить всему, что я скажу. — Она приблизила свое лицо клицу несчастного маркиза и прошептала: — И вот когда я пойму, что вы научились... — И, остановившись, добавила: — А пока я назначаю вас вместе с Эмбсом интендантом моего двора.

— Она предложила мне, блестящему вельможе самого блестящего двора мира, стать мальчиком на побегушках у неизвестной женщины с неизвестным прошлым! И я... я бросил замки на Луаре, бросил все, что имел. Я подписал ее векселя на чудовищные суммы. И следовал за ней повсюду!

Принцесса и де Марин вернулись в залу.

— Его сиятельство великий гетман литовский Михаил Огинский, — объявил слуга.

В залу вошел Михаил Огинский.

И тотчас, совершенно забыв о несчастном маркизе, принцесса устремила к гетману. Огинский церемонно поклонился.

Они открывают бал. Они танцуют полонез.

Михаил Огинский — один из самых блестящих людей века. Композитор, живописец, впоследствии он занесет свое имя на карту Польши — создаст канал, который соединит Балтику и Черное море.

— Господа, сейчас князь осчастливит нас, — объявляет принцесса. И гетман садится к роялю.

Огинские — древний славный род, потомки Рюриковичей. Предки Михаила Огинского — великие князья Черниговские. В XVII веке они оставляют Русь и переходят на службу к великим литовским князьям. Когда умер польский король Август и началась борьба за престол, Огинский считал себя самым подходящим кандидатом.

Но Екатерина хотела другого. Когда-то, в дни молодости, она страстно

любила польского шляхтича Станислава Понятовского. Екатерина всегда верила своим фаворитам. Она возвела Понятовского на польский трон. Знатнейшие польские роды отказались признать нового короля. Потоцкие, Радзивиллы, Браницкие создали Конфедерацию и объявили гражданскую войну. Екатерина ввела в Польшу армию и наголову разбила конфедератов.

Огинский долго колебался, но в сентябре 1771 года, всего за полгода до описываемого дня, взялся за оружие. Однако художник не всегда хороший воин. При Столовицах он был наголову разбит внезапной атакой. Во время сей ночной атаки незадачливый полководец мирно почивал со своей тогдашней возлюбленной. И только сопротивление горстки храбрецов спасло его от плена. Его казна, любовница, гетманская печать — все было захвачено. Несчастный Огинский бежал за границу. Екатерине не изменил юмор, и она прислала Огинскому в знак соболезнования флакончик нашатырного спирта для приведения в чувство, ибо все его имущество в Польше было конфисковано. И вчерашнему богачу пришлось отправиться туда, где поддерживали конфедератов, — во Францию, к врагам России... Здесь, в Париже, он узнал, что, пока шла гражданская война между польской шляхтой, прусский король, австрийская императрица и Екатерина разделили земли Речи Посполитой. Так в Париже оказалось множество польских эмигрантов.

— И все они обитали в ее салоне, эти шляхтичи! Эти надутые, нищие поляки. Огинский, естественно, начал меланхолический роман с принцессой. Он был вечно болен, и они посылали друг другу бесконечные письма. Самое унижительное — она заставляла меня доставлять ему их. И вот тогда-то у меня и состоялся разговор...

Огинский и де Марин беседуют в кабинете гетмана.

— Для нас, французов, Россия, Персия — это так далеко, дальше Луны! Но вы-то бывали в России?

— И не раз, маркиз.

— И это Володимирское княжество, которым владеет принцесса, и эти Азовские земли... Они существуют?

— Никакого Володимирского княжества нет. Было какое-то великое Владимирское княжество, но это было очень давно, в Древней Руси, когда предки владели Черниговскими землями.

— Значит, все это ложь?

— О нет, я уверен, это просто иносказание. Те, кто воспитывали ее, боялись открыть правду. Это было бы слишком опасно для нее. И, намекая на ее высокое и древнее происхождение, они объявили ей, что она

Володимирская принцесса, то есть наследница древних русских правителей. Что касается Азова — это тоже иносказание, что ей принадлежат по рождению и все азиатские русские земли.

— Это объяснение поэта.

— Поэты, мой друг, — пророки.

— Так кто же она, по-вашему?

— Я подозреваю, что она дочь... я даже не смею произнести имя ее матери... Во всяком случае, в Польше ходило много слухов, что императрица Елизавета имела дочь от тайного брака с русским вельможей Алексеем Разумовским... Недаром Али воспитана в Киле — столице Голштинии. Ведь именно там, в Киле жила в то время любимая сестра императрицы Елизаветы Анна. Она была замужем за голштинским принцем. Нет, все это не может быть случайным!

— ...Теперь я понял, что тянуло ее к этому поляку! И чем они сводили ее с ума...

Май 1773 года. Париж.

Ночь. Де Марин мирно спит. Распахивается дверь. В мужском костюме входит принцесса, расталкивает спящего маркиза:

— Мы уезжаем! Немедленно!

— Куда? Почему?! — пытается понять спросонок бедный маркиз.

— Завтра нас должны арестовать за долги. Точнее, вас, мой друг, и бедного барона Эмбса. Вы подписали мои вексели, а ваши друзья Понсе и Масе... Да, да, они подали в суд, проклятые банкиры!

Вошел молодой человек в дорожном плаще.

— Знакомьтесь: граф Валькур де Рошфор, гофмаршал двора князя Лимбурга.

Де Рошфор — одна из знатнейших дворянских фамилий Франции. Граф разорился и состоял на службе у немецкого князя герцога Лимбургского.

— Кстати, — добавила она небрежно, — граф Рошфор скоро станет моим мужем. Он сделал мне предложение. К сожалению, я не вправе сразу дать ему ответ... я должна связаться со своим попечителем — персидским князем Али.

Рошфор будто не слушал, как зачарованный пожирал ее глазами.

Вошел Эмбс, тоже в дорожном плаще, с баулом в руках.

— Пистолеты? — спросила принцесса.

— У нее над кроватью всегда висела пара заряженных пистолетов, и

еще пять пистолетов хранились в бауле. И там же, по слухам, лежали ее драгоценные бумаги.

Эмбс молча вынимает из баула пару пистолетов и протягивает принцессе. Она засунула их за пояс.

— Итак, господа, мы покидаем прекрасную Францию!

— ...Через две недели мы жили во Франкфурте и, конечно, в самой дорогой гостинице. Она сняла целый этаж. Счастливый Рошфор уехал объявить своему господину, герцогу Лимбургу, о готовящемся браке. И обещал вернуться через несколько дней.

Вся честная компания: Эмбс, де Марин и принцесса — сидит вокруг стола, уставленного едой и вином. Распахивается дверь, и появляется взбешенный хозяин гостиницы. За ним толпятся слуги.

— Всё прочь со стола этих господ! — приказывает хозяин слугам. — Всё! И вино тоже! Больше я вас не кормлю, господа. Извольте сначала заплатить! Я поселил вас потому, что такой уважаемый господин, граф Рошфор, мне сказал... Но выживете здесь уже целую неделю — и ни гроша!

Слуги торопливо убирают со стола еду. Потеряв дар речи, де Марин и Эмбс глядят, как уносят их тарелки. Но принцесса сохраняет самообладание. Преспокойно отвесив пощечину слуге, который попытался забрать ее бокал, она не торопясь допила свое вино. Поставила бокал на стол и ровным голосом обратилась к хозяину:

— По-моему, вы сошли с ума, милейший. Вам будет за все заплачено. На днях я написала письма русским посланникам при Версальском и Прусском дворах, чтобы они незамедлительно выслали мне...

— Слыхали, слыхали... — перебил хозяин, — и про посланников... все уши забиты этими рассказами. А что оказывается на самом-то деле? Сегодня приезжают честные господа из Парижа...

И он распахнул дверь. В дверях стояли ухмыляющиеся Понсе и Маса.

— Всё сказки рассказываете про сокровища персидского дяди? — усмехнулся Понсе. — Думали, не найдем вас? Найти вас просто. Спроси, где больше всего тратят денег...

— И вы с ней, маркиз? — засмеялся в свою очередь Маса. — Вот уж никак не думал, что окажетесь таким же болваном, каким оказался я.

— Тысяча чертей! — Де Марин вскочил в бешенстве.

Но принцесса повелительным жестом усадила его на стул.

— Мой друг, — обратилась она ласково к Эмбсу, — окажите любезность, принесите мой баул...

Барон Эмбс молча встал и ушел в другую комнату.

А она продолжала все так же совершенно спокойно:

— Итак, на днях я действительно должна получить некоторое известие из Персии.

Оба банкира расхохотались.

— Кроме того, — продолжала она, будто не замечая этого веселья, — завтра здесь появится мой жених — граф де Рошфор, который сначала заплатит по векселям, а уж потом я попрошу его снабдить увесистыми пощечинами господ, нарушивших мой покой.

Заявление отрезвило хозяина гостиницы, и он скрылся за спинами банкиров. Но Маса и Понсе только хохотали.

В это время вернулся Эмбс и молча протянул баул принцессе.

— Впрочем, до его приезда я, пожалуй, сама постараюсь умерить ваше веселье, господа.

И она выхватила из баула пару пистолетов и направила их на банкиров.

— Ну что ж, — сказал Понсе, отступая к дверям. — Мы подождем до завтра. Но только до завтра.

— Ваши векселя уже находятся в магистрате, так что готовьтесь завтра проследовать в тюрьму, — сказал Маса.

Принцесса нажала курок. Раздался выстрел. Оба банкира и хозяин моментально исчезли за дверью. Принцесса выстрелила трижды в стену, и пули легли точно — одна в одну.

Унесенные тарелки вновь вернулись на стол, и прерванный обед продолжался.

— Послушайте, Алин...

— Я прозвал ее Алин. И она любила это имя...

— Послушайте, Алин, но... вы знаете, и я знаю, и эти господа знают: у Рошфора нет денег. Он весь в долгах. Я даже думаю, что он сильно рассчитывает на сокровища вашего дяди...

— Мой друг, вы не мудры. Мой персидский дядя любил рассказывать мне одну историю... — Она с аппетитом набросилась на еду.

— Она была худа, точнее, томно изящна, но у нее всегда был зверский аппетит.

— Один шах приказал своему визирю: «Сделай так, чтобы моя любимая собака заговорила!» — «Обязательно сделаю, но только завтра». — «Ты сошел с ума!» — сказала жена визирю. «Почему? Никто не знает, что случится завтра: или я умру, или шах умрет, или собака сдохнет...»

И она расхохоталась.

— И вот тогда мне показалось, что она не раз бывала в подобных переделках и что ей отнюдь не двадцать один год! Самое смешное, что назавтра действительно все уладилось...

Та же зала в гостинице, и та же компания сидит уже за пустым столом.

Распахивается дверь — и граф де Рошфор торжественно объявляет:

— Его высочество князь Филипп Фердинанд Лимбург— Штирум.

Вошел немолодой господин, в большом парике, в ослепительном, но, увы, старомодном золотом камзоле со множеством орденов.

Князь Филипп Фердинанд Лимбург-Штирум — «князь Священной Римской империи, владелец Лимбурга и Штирума, совладелец графства Оберштейн, князь Фризии и Вагрии, наследник графства Пинненберг и т. д.». Так писался его титул в официальных бумагах. Но все эти пышные названия скрывали крохотные отрезки земель, разбросанные по Германии. Тем не менее земли были. И как владетельный князь Римской империи, он имел право держать свой двор, послов, свое маленькое войско, чеканил монету и многочисленные ордена, каковыми, как и остальные князья, щедро торговал.

Принцесса поднимается со стула и величаво протягивает руку для поцелуя. Лимбург с низким поклоном целует руку. Он о чем-то спрашивает ее, она что-то отвечает... Ее огромные глаза устремлены на князя. Она страстно жестикулирует, рассказывая, и вот уже Лимбург вытирает нахлынувшие слезы.

— Бедный Рошфор! Она рассказала князю всю грустную историю своей жизни. И про персидские сокровища тоже. Она знала, эта тема очень заинтересует князя, вечно нуждавшегося в деньгах...

Теперь уже князь темпераментно что-то повествует принцессе. И она глядит на него своими завораживающими глазами. Они будто впились друг в друга.

Рошфор не выдержал. Он осмелился сам подойти к увлеченным собеседникам.

— Я решил назначить, Алин, наше бракосочетание...

Она с удивлением смотрела на Рошфора:

— Я сказала, граф: я жду ответа из Персии и уже тревожусь за этот ответ. Что делать, мой друг, я невольница своего происхождения...

— Бедный, бедный Рошфор... Князь все заплатил по нашим счетам. Маса получил орден и был счастлив. Понсе — деньги и тоже был счастлив...

Во дворе гостиницы стояли два экипажа.

Князь галантно помогает принцессе, и они усаживаются в карету князя. Рошфор хотел было последовать за невестой, но князь жестом указал ему на другой экипаж, где уже сидели Эмбс и де Марин.

— Пожалуйте в нашу теплую компанию, — засмеялся де Марин.

Хозяин гостиницы, Понсе и Маса подобострастно провожают князя.

Они стоят во дворе и приветливо машут отъезжающим. И тогда в окне кареты князя показалось лицо принцессы.

Она нежно обратилась к Рошфору:

— Надеюсь, вы не забыли о моей просьбе, граф?

Рошфор выходит из кареты, подходит к хозяину гостиницы. И тот, уже понимая, в чем дело, послушно подставляет физиономию. Граф молча отвечает ему пощечину.

— Продолжайте, граф, — раздается голос принцессы из кареты.

Понсе и Маса покорно подставляют свои щеки.

— Все как я обещала, господа! И запомните я всегда плачу по своим счетам!

Сопровождаемые низкими поклонами хозяина и банкиров, оба экипажа трогаются...

— Он увез ее в свой замок в Нейсесе.

Маркиз усмехнулся: рассказ был окончен.

— И неужели все это время вы не пытались выяснить, кто она на самом деле? — спросил Рибас.

— Дорогой друг, вы не любили! Это все, что я могу вам ответить. Впрочем, князь Лимбург, который любил, вынужден был заниматься тем, что вас так интересует. Он собрал сведения о ее прошлом.

— И что же он выяснил?

— Естественно, это осталось его тайной.

— И все-таки кто она, по-вашему?

— Повелительница, сударь. Она захотела, и маркиз де Марин превратился в фальшивомонетчика, в шулера... Мне все время нужны деньги... только с деньгами я могу показаться к ней. Я ненавижу ее, когда ее нет. Но она велит — и я скачу в Рагузу помогать ей бежать от долгов. Она — мое проклятие... И если вы пришли ее убить — постарайтесь это сделать поскорее...

Придя в гостиницу, Рибас тотчас начал писать донесение графу Орлову. Закончив письмо, он повалился на кровать и заснул мертвецким

сном.

Когда взошло солнце, Рибас уже был на ногах. Он растолкал спящего слугу.

— Письмо доставишь графу Алексею Григорьевичу. Отдашь только в собственные руки. Я буду ждать тебя в замке Нейсес в имении князя Лимбурга.

Он протянул слуге несколько золотых:

— На дорогу!

— И это все, сударь?! А ночлег? А постоялые дворы?

— В твоём возрасте люди не тратят деньги на постоялые дворы. Зачем ночевать на постоялых дворах, когда есть вдовы, — отечески объяснил Рибас слуге. — В путь!

Замок Нейсес, 1774 год, октябрь.

В парадной зале у камина сидели князь Лимбург и Рибас. Князь Лимбург держал в руках рекомендательное письмо: «Подателю сего господину де Рибасу вы можете доверять, как мне самому. Маркиз де Марин».

Лимбург усмехнулся:

— Это очень печальная рекомендация, ибо я редко встречал большего негодяя, чем маркиз... Итак, кто вы, милостивый государь?

— Меня зовут Рибас. Иосиф де Рибас, испанец.

— Вы живете здесь два дня и осмелились собирать сведения об... известной особе.

— Совершенно верно, Ваше сиятельство.

— Зачем вам нужны эти сведения?

— Исключительно чтобы привлечь к себе ваше милостивое внимание. Это был единственный способ попасть пред очи Вашей светлости. — И добавил: — Я испанский дворянин, но я нахожусь на русской службе.

— Значит, все это правда? — в сильном волнении вскричал князь. — У нее есть своя партия в России?!

— У нее нет своей партии в России, просто очень могущественные люди хотят узнать обстоятельства жизни этой женщины. Я целую неделю открыто собирал о ней сведения, но всего лишь два дня назад олухи, которых вы называете своими слугами, это заметили. Итак, меня прислали к вам с вопросом: желало бы Ваше сиятельство, чтобы эта женщина вернулась из своих рискованных путешествий обратно в ваш замок?

— Я желаю лишь одного: забыть ее! Я хочу, чтобы все минуло, — яростно начал князь и добавил без паузы: — А как это сделать?!

— Меня прислали к вам очень могущественные люди, князь. Итак, они предлагают обмен: Ваше высочество расскажет все, что знает о ней. А мы постараемся ее вернуть...

— Доказательства?

— Никаких, кроме логики: мы заинтересованы в том, чтобы она прекратила «опасные свои приключения». И вы тоже, Ваше высочество. Наши интересы совпадают.

Князь задумался.

— Вы почему-то мне внушаете доверие, господин...

— Рибас.

— Я принимаю предложение. Да и нет другого выхода. Вы действительно моя последняя надежда.

— И я в этом совершенно уверен, князь, — сказал почтительно Рибас, глядя на князя чистыми добрыми глазами.

— Хорошо! Но Бог покарает вас, если вы солгали.

Князь помолчал, а потом торжественно начал — ему доставляло неизъяснимое, почти болезненное удовольствие рассказывать о ней.

— Весной прошлого года я привез ее из Франкфурта в замок Нейсес, и началась самая прекрасная пора моей жизни. Мне уже было за сорок...

«Сорок пять, если быть точным», — усмехнувшись, подумал Рибас.

— Я часто увлекался, но, поверьте, я все забыл!

Замок Нейсес.

У камина в той же комнате, где сейчас сидят Рибас и Лимбург, сидела принцесса, играла на лютне и с томной нежностью глядела на князя.

— Мой Телемак, — шепчет принцесса.

— Моя Калипсо, — отвечает князь.

Калипсо, по греческой мифологии, — нимфа, державшая семь лет в плену Одиссея, а прекрасный Телемак — сын Одиссея.

«Милый разговор, — опять усмехнулся про себя Рибас, — если учесть, что Телемак был двадцатилетний юноша. Этот болван не понял, как она издевалась над ним».

— Мой Телемак... — с нарастающей нежностью повторяла принцесса.

— Моя Калипсо...

— Мой Телемак, мне немного надоел этот граф Рошфор. Он все время преследует меня моим обещанием выйти за него замуж...

Этого было достаточно. О небо! Я отправил в тюрьму несчастного Рошфора, единственного преданного мне человека. Нет, я не был к нему жесток, поверьте... Ему приносили лучшую еду и его любимое

бургундское. И каждый день я давал ему возможность бежать.

В тюрьме в камере мирно беседовали Лимбург и Рошфор.

— Почему вы не бежите, граф?

— Я жду, Ваше высочество.

— Чего?

— Того, что скоро случится.

— Что случится? О чем вы болтаете?

— То, что случилось со мной... с де Марином... Со всеми, кто был знаком с этой женщиной.

— Я лишаю тебя бургундского, — кричит князь, но Рошфор только хохочет.

— В тот день я повез ее в замок Оберштейн. Я был совладельцем этого графства...

Лимбург и принцесса верхом подъезжают к замку в Оберштейне.

— Ах, мой Телемак... Как прекрасно жить здесь! Вдали от всякой суеты.

— Моя Калипсо... — восторженно шепчет Лимбург.

— Я слышала от своей няньки, что в моих княжествах много таких замков. Скоро, ох как скоро ты прочтешь в газетах о возвращении мне моих земель. и тогда я покину тебя, мой Телемак, и уеду в далекую заснеженную страну.

— Ты уедешь?

— Но прежде чем уеду, я мечтаю, чтобы вы выкупили этот замок. Я уж придумала, как его перестроить.

Она соскочила с лошади и хлыстом уверенно начала чертить на земле контуры замка.

— Когда меня, увы, с тобой не будет, ты будешь смотреть на замок и вспоминать свою странную Калипсо...

— Она замечательно рисовала, понимала в архитектуре и играла на многих инструментах. — ...Мне дали прекрасное образование, у меня были самые дорогие учителя.

— И тогда впервые с какой-то злой меланхолией она начала рассказывать о своем детстве.

— Я дитя любви очень знатной особы, которая поручила некой женщине воспитать меня. Ни в чем я не имела отказа. Но... вдруг перестали приходить деньги на мое содержание. Оказалось, моя мать умерла. И вот тогда эта женщина продала меня богатому старику. — Она

засмеялась. — О, как я обирала его! Я притворялась больной, он вызывал врача и аптекаря, и они прописывали мне самые дорогие лекарства. Старик безумно любил меня и платил, а потом эти деньги мы делили с аптекарем и врачом.

— И вас не мучила совесть? — в ужасе вскричал князь.

— Куртизанки как солдаты: им платят за то, что они причиняют зло.

— О небо! И вы могли... без любви...

— Видишь ли, мой друг, капризничать — это для нас то же, что матросу бояться морской болезни. Пусть испанцы скупы, пусть итальянцы плохие любовники — легко загораются и также быстро гаснут, но я не должна была никому отказывать, даже евреям.

Она взглянула на страдающее лицо Лимбурга и расхохоталась:

— Мой Телемак, ты плохо образован. То, что я сейчас говорила, я прочла в книге моего любимого Аретино, он был великий венецианец. — И добавила насмешливо: — Жаль, что он умер триста лет назад. Говорят, он был превосходный любовник и в пятьдесят шесть лет хвастался, что прибегает к услугам женщин не менее сорока раз в месяц.

— И все-таки в ее рассказе я почувствовал какую-то страшную правду. Нет, я никогда не мог понять, когда она выдумывала, когда говорила правду, хотя чаще всего это было и то и другое вместе...

— ...Ах, мой Телемак, постарайтесь стать хоть чуточку мудрее. К сожалению, в нашей жизни наступает возраст, когда надо хотя бы производить впечатление умного, если не хочешь быть смешным. — Она расхохоталась. — Поверить, что наследница володимирских князей была дешевой куртизанкой! Ох, мой Телемак!

— Но зачем вы все это говорили?

— Со злости. Мне стало обидно, мой друг, что вы так легко восприняли известие о моем возвращении в Россию.

— Если вы уедете, Алин, — глухо сказал Лимбург, — я уйду в монастырь.

— Вот это другое дело... И все-таки я уеду, я обязана выйти замуж: род великих князей не должен прекратиться... Пора пришла. Я получила письмо из России!

— И вот тогда я сказал ей то, ради чего она все это говорила.

— ...Я свободен. И... я прошу вашей руки, Ваше высочество. Вы молчите?

— Я представила, какой ропот поднимется среди всех этих тупых

немецких государей. «Ах, владетельный князь женился на русской принцессе, а у нее ни земель, ни бумаг о происхождении». О, вы, немцы, бумажный народ, мой друг.

— Я отрекусь от титула, но я женюсь. Я не могу без вас.

— И я не могу... Но я никогда не посмею причинить вам боль. — Она плакала. — Я люблю вас... — Она рыдала, а потом сказала сквозь слезы: — Мне пришло сейчас в голову... соберите, мой друг, все деньги... все, все... и выкупите этот Оберштейн. А потом... объявите, что это я дала деньги... что они присланы мне из Персии. И тогда... ваши владетельные родственники хоть немного поверят...

— Великолепная мысль! Они умрут от зависти!

— Тем более что мне действительно скоро пришлют деньги из Персии.

— И я не только выкуплю Оберштейн, — в восторге вскричал Лимбург. — Я подарю его вам, чтобы у вас, моя Калипсо, были земли! Чтобы вы как равная могли вступить в брак с владетельным немецким князем!

— Я написал всем немецким князьям о своей помолвке, о том, что княжна, наследница русских князей, фантастически богата и выкупила графство Оберштейн. Я не заметил, как я, ревностный католик, ни разу в жизни не солгавший, через месяц жизни с нею стал отъявленным лгуном!

В тюрьме князь Лимбург и Рошфор беседуют за богато сервированным столом.

— Она получила из Персии дядюшкины деньги и купила себе графство Оберштейн.

— Она? Получила деньги? — Рошфор умирает от хохота.

— Я опять лишаю вас бургундского, граф!

— Я заложил земли в Штируме и во Фризии — и она выкупила графство Оберштейн. Я стал готовиться к помолвке и одновременно все же поручил своим людям... да, да... выяснить все о моей невесте!

Замок Оберштейн.

У камина сидит принцесса и, склонив прелестную головку, гадает.

В тазу плавают кораблики с зажженными свечами. Это старинное венецианское гадание. Камеристка Франциска фон Мештеде, стоя на коленях, зачарованно смотрит в таз на горящие свечки.

На камине водружена картина, которую только что закончила рисовать принцесса. На ней все та же сцена: принцесса, сидящая у камина, кораблики с зажженными свечами и камеристка...

Неслышно вошел Лимбург. В восхищении смотрит князь на эту мирную идиллию.

— Подарите мне эту картину, Алин...

Она обернулась в бешенстве.

— И вы смеете как ни в чем не бывало приходить ко мне? После того как вы, предназначенный мне Богом... утешение за всю мою жизнь... смели хладнокровно проверять мое прошлое?

— Но я... — начинает Лимбург.

— Смели обсуждать с мерзавцами ростовщиками, когда и где я познакомилась с бароном Эмбсом, когда и где...

— Откуда она могла узнать? До сих пор не понимаю... Кроме меня и моего банкира, никто не знал. Но она... она всегда знала все. Она была сущий дьявол!

В комнату входит барон Эмбс.

— Барон, я просила вас принести...

Эмбс с поклоном протягивает свой патент.

— И пусть вам будет стыдно, князь! — Она швырнула патент Лимбургу. — Это патент на звание капитана. Барон прославился военными подвигами, а не выяснениями несчастных обстоятельств жизни несчастной женщины.

— И все-таки я ей не верил. Точнее, верил... и не верил. Мои люди много раз подпаивали этого подозрительного барона. Но ни слова от него не добились. Он пил и молчал.

— Я прошу простить меня... — сказал несчастный Лимбург, возвращая патент. — В последний раз. — Я слишком хорошо вас знаю. Этот последний раз будет длиться вечно. Ступайте... я хочу дочитать письмо. — И она демонстративно взяла со столика письмо и погрузилась в чтение.

— Я не смел спросить ее, что это за письмо, но умирал от любопытства.

— Это письмо от гетмана Огинского из Парижа, — сказала она, усмехаясь и глядя на князя.

— Рошфор рассказывал мне о ее связи с гетманом. Призрак этого сиятельного любовника никогда не давал мне покоя. Проклятие!

Через несколько дней — в замке Оберштейн. Лимбург ставит перед принцессой бронзовый шандал с экраном. Торжественно зажигает свечу —

и на экране видна картина: она гадает, и кораблики с зажженными свечами плавают в серебряном тазу. Но она не оценила подарка. — Какая прелесть, — говорит она равнодушно. И добавляет: — Я хочу, чтобы вы пожили немного в Нейсесе, а я поживу пока одна здесь, в Оберштейне. Я хочу, чтобы вы проверили, Телемак, действительно ли хотите взять меня в жены.

— И очень скоро я узнал от своих слуг в Оберштейне, что ее навещает там некий незнакомец. Он приезжал к ней обычно ночью из городка Мосбах. В донесениях моих слуг он именовался «мосбахским незнакомцем».

В тюрьме Лимбург и Рошфор сидели за бутылкой вина.

— Это невыносимо, граф, — жаловался Лимбург, — я уже не имею права жить с нею. Когда я начинаю объясняться в любви, она заявляет: «Ах, мой друг, вы любимы... И очень стыдно в ваши лета быть столь ревнивым, мой Телемак». Она выгнала из Оберштейна всех. Даже этого странного барона Эмбса она отправила в Париж вместе с де Марином — торговать моими орденами. И они продают их бог знает кому... А в Оберштейне все стонут от ее самоуправства!

Рошфор хохочет.

— Но самое гнусное: каждую ночь к ней приезжает некто... мои люди слышали польскую речь.

Рошфор покатывается со смеху.

— Это Огинский! Клянусь, это проклятый гетман! Ну, хорошо, хорошо, я признаю, вы были во всем правы, граф, — вздохнул Лимбург. — И вот письмо, которое она получила... да-да... я был в замке, я обыскал... я унизился и до этого. — Он протянул письмо Рошфору: — Читайте!

Под письмом стояла дата — 12 ноября 1773 года. Письмо было написано по-французски, без подписи.

Рошфор читал письмо:

«Горю желанием, Ваше высочество, принести Вам знаки своего уважения, однако есть причины, мешающие мне открыто это осуществить. Одетый по-польски, боюсь привлечь внимание слишком многих любопытных. Поэтому для встречи предлагаю постороннее место, чтобы укрыться от взоров ненужных наблюдателей. Для этого я нанял дом в Мосбахе. Если Ваше высочество признает это приемлемым, Вас проводит туда преданный мне человек».

Лимбург в бешенстве шептал:

— Огинский! Проклятый поляк!

— Странно, — сказал Рошфор. — Я был знаком с гетманом в Париже,

он слишком осторожен для подобных приключений.

Стояла глубокая ночь.

У стены замка Оберштейн привязаны две лошади. Открылась потайная дверь в стене — в темноте появилась принцесса в сопровождении незнакомца. На принцессе черный плащ, она в мужской одежде. Незнакомец, молодой человек, тоже в черном плаще и в треуголке.

Молодой человек отвязал лошадей — принцесса легко вскочила в седло. И они поскакали в лунной ночи по лесной дороге...

Лимбург и Рошфор, верхом, прячась в тени деревьев, наблюдают всю сцену.

Рошфор тихо смеется:

— Мы будем в Мосбахе раньше, я знаю кратчайший путь.

— Я разоблачу бесстыдную лгунью! — в бешенстве шепчет Лимбург.

Они скачут по дороге — в ночь, в которой скрылись принцесса и незнакомец.

Большой дом на окраине Мосбаха. Спит городок. Темные дома освещены луной.

Стук копыт. К дому подъезжают принцесса и молодой незнакомец.

В тени деревьев их уже поджидают Рошфор и Лимбург на лошадях.

— Открывайте ворота, — кричит по-польски незнакомец.

Из ворот выходит мужчина в расшитом польском кунтуше, в широкой шляпе, скрывающей лицо.

— Огинский! — шепчет Лимбург.

Мужчина в польском кунтуше низко кланяется принцессе, помогает ей сойти с коня. И, встав на колено, целует руку.

— Ни с места, господа! — не выдерживает Лимбург и выскакивает на лошади из тьмы.

Молодой незнакомец тотчас выхватил шпагу, но Рошфор, появившись с другой стороны дома, выбил шпагу у него из рук.

— Боже мой, — вскричала принцесса, обращаясь к Лимбургу, — вы сошли с ума!

— Я вызываю вас, гетман! — бессмысленно кричит Лимбург человеку в кунтуше.

Лунный свет падает на его лицо.

— Я был прав, это не гетман, — устало усмехается Рошфор.

— Простите, князь Карл, — почтительно обращается принцесса к

человеку в кунтуше, — но вас приняли за другого... Позвольте вас познакомить с моим женихом и просить прощения за то, что это знакомство происходит при столь странных обстоятельствах. — И она торжественно представляет: — Его высочество князь Карл Радзивилл, виленский воевода... Его высочество князь Филипп Фердинанд Лимбург...

Мужчина в кунтуше и князь Лимбург почтительно, церемонно раскланиваются.

Карл Радзивилл, князь Священной Римской империи, виленский воевода, любимец шляхты, «пане коханку», «родовитейший из родовитейших», как его называли в Польше.

— Теперь ваша очередь, князь Карл, — обратилась принцесса к Радзивиллу, — представить меня моему жениху.

— О чем ты говоришь, Алин, — изумленно начал Лимбург.

— Алин умерла... И забудьте это имя, мой друг. — Она повелительно взглянула на Радзивилла.

И тогда князь Радзивилл объявил:

— Ее императорское высочество Елизавета Всероссийская, единственная законная наследница престола России...

В доме Радзивилла в Мосбахе: огромная зала, увешанная оружием, тонула в полутьме. Радзивилл стоял в центре залы.

После избрания польским королем Станислава Понятовского князь Радзивилл не признал «безродного шляхтича» и скитался за границей. Но вдруг неожиданно покорно бил челом в Петербурге, обязался служить Понятовскому и во всех поступках считаться с желаниями Екатерины. Получил прощение, «как собственное дитя императрицы», князь Радзивилл вновь зажил королем в своем замке в Несвиже. Он лупил несчастных шляхтичей и потом устраивал для них же пьяные оргии, заливая вином свой позор. «Король — король в Кракове, а я — в Несвиже», — повторял воевода. Но вскоре также легко, как примирился с Понятовским, он его и предал. Во главе вооруженных отрядов он появился под знаменами конфедератов. Будучи много раз разбит, бежал за границу и там объявил себя непримиримым врагом Екатерины и Понятовского. Он путешествовал по Европе, склоняя к войне с Екатериной мелких немецких государей и Французский двор. Представитель Радзивилла — некто Доманский — участвовал во всех съездах конфедератов. К 1773 году Радзивилл сделался для шляхты символом борьбы. И тогда его имения в Польше были конфискованы. Один из богатейших людей Европы начал жить, продавая

фамильные драгоценности. «Нельзя запятнать славу предков, — повторял Радзивилл среди обрушившихся на него ударов судьбы. — Я приму охотней звание вечного скитальца, чем примирюсь с врагами Речи Посполитой». За месяц до описываемых событий король Польши Понятовский объявил амнистию всем эмигрантам, которые сложат оружие и вернутся в Польшу. Многие тотчас начали переговоры с королем, подготавливая свое отречение от борьбы. Но «пане коханку» остался стоек. Именно в эти дни и состоялась его встреча с принцессой.

Множество слуг толпилось в полутемной зале, подобострастно кланяясь принцессе.

По знаку Радзивилла слуги исчезли. В зале остались молодой незнакомец, Радзивилл, принцесса, Лимбург и Рошфор.

— Сколько раз я мечтала, — горестно шептала принцесса Лимбургу, — объявить вам все это сама... Сколько раз я проклинала судьбу и происки врагов, заставлявшие меня скрывать от вас... от мужа, данного мне Богом, свое имя. И вот, когда я готовилась торжественно открыть вам тайну моей жизни... вы, как всегда, все испортили глупой ревностью...

Меж тем Радзивилл торжественно начал:

— Исторический день наступил, господа. В этом доме происходит первое свидание несчастного скитальца с будущей российской государыней.

Он низко поклонился принцессе.

Принцесса была неузнаваема: ее лицо, ее жесты — сама величественность.

— Мне остается, господа, открыть вам: мое истинное имя Елизавета. Елизавета — дочь Елизаветы... Я рождена от брака русской императрицы Елизаветы с казацким гетманом Разумовским. Это был тайный брак, но брак законный. О чем существуют соответствующие бумаги...

Она взглянула на молодого незнакомца, и тот утвердительно кивнул.

— Подвергаясь тысяче опасностей, я была вынуждена жить под именем принцессы Володимирской. Но пора пришла. По моему приказу брат мой Разумовский, скрывшийся под именем Пугачева, успешно поднял восстание в России. Урал и Сибирь в наших руках! Чтобы быть понятным простому народу, брат мой по повелению моему принял имя Петра Третьего.

— Боже мой, не так давно я сам впервые читал ей в газетах об этом Пугачеве... Клянусь, я помню до сих пор, как загорелись ее глаза...

— Настало время, — продолжала принцесса, — заявить миру о моих

правах. — И она торжественно положила на огромный стол бумаги. — Это копия духовного завещания матери моей Елизаветы... Когда-то мать моя передала его моим воспитателям. Чтобы потом, когда придет моя пора царствовать, ни у кого не возникло сомнений в моих правах. Знакомьтесь, господа... Подлинный текст сохраняется в надежном месте и вскоре будет предъявлен миру. — Я впился в бумаги... Нет, это не был почерк Алин, и, клянусь, это не был ее стиль. Бумаги были составлены замечательно. Там были такие подробности, которых она знать не могла, клянусь небом! И никто другой не мог! Нет, это было подлинное завещание! Но откуда оно у нее?!

И вновь молодой человек неслышно выступил вперед, забрал бумаги из рук Лимбурга. И отступил в темноту зала.

— Кроме того, мать оставила мне завещания деда моего Петра Великого и бабки моей Екатерины Первой. И вскоре все это также сделается достоянием публики. Итак, здесь, сегодня я объявляю начало борьбы за свои права. В Швеции нас готовится поддержать король Густав, мечтающий отомстить за поражение при Полтаве. В Турции мир, на который рассчитывает Екатерина, не будет заключен. В Париже нас горячо поддерживает Версальский двор. Весь Урал в руках нашего брата. В этом общем восстании против похитительницы престола немецкой принцессы Екатерины я отвожу особую роль Польше...

Радзивилл поклонился.

— Мы, Елизавета Вторая Всероссийская, торжественно клянемся, господа, восстановить Польшу в ее границах. Мы клянемся свергнуть с польского престола безродного раба Екатерины Понятовского и поддержать избрание польским королем единственно достойного...

Она взглянула на Радзивилла, и Радзивилл опять гордо поклонился.

— Наши действия начнутся с совместной поездки с князем Карлом в Константинополь к султану. Мы принудим султана к прекращению всяческих мирных переговоров с узурпаторшей. Оттуда, из Константинополя, я обращусь к русскому войску и флоту — свергнуть узурпаторшу-немку и передать престол законной наследнице — последней из дома Романовых. — Глаза ее горели. — Я напишу главе русской эскадры графу Алексею Орлову. Партия Орловых недавно пала в России, и, нет сомнения, граф возьмет мою сторону!

— Как все причудливо соединялось в этой очаровательной головке. Это я ей рассказывал про низвержение Орловых и про Разумовского. Несколько лет назад казацкий гетман проезжал через мои владения. И все

вокруг говорили о тайном браке его брата Алексея с императрицей Елизаветой. Но она, видимо, перепутала имена братьев, назвавшись дочерью казацкого гетмана. Так я подумал тогда...

— Итак, господа, на днях князь Радзивилл отправляется в Венецию. И будет готовить экспедицию и корабли для нашей поездки к султану. Чтобы не давать повода к излишним слухам, мы отправимся в Венецию порознь.

— В Константинополь, Ваше высочество! — закричал Радзивилл. — И если верность отечеству потребует от меня терпеть нужду до конца моих дней — буду терпеть, но мать-родину не предаю!

— К сожалению, остается еще один важный вопрос экспедиция потребует много денег... я знаю ограниченные ныне средства князя Карла...

— Все отдам, все, что есть! И будем верить, что мы получим помощь от Бога, как получаем от людей одни притеснения! — выкрикнул Радзивилл.

Принцесса взглянула на Лимбурга.

— Я готов во всем помочь своей будущей супруге, — начал Лимбург. И добавил: — Ее высочеству Елизавете Всероссийской.

— У меня уже есть план, господа, — продолжала принцесса. — Копии находящихся у меня завещаний русских царей должны быть немедленно показаны французским банкирам. Одновременно в газетах надо опубликовать подробный список крепостей, взятых моим братом Пугачевым. После чего немедленно следует выпустить в Париже заем от моего имени как единственной законной наследницы Русской империи. Дадут, дадут деньги проклятые банкиры!

— Браво! — закричал Радзивилл.

— Скоро начнет светать. Пора расставаться, чтобы не возбуждать излишних слухов, — сказала принцесса. — Мой офицер проводит вас обратно в Оберштейн, господа...

Молодой незнакомец выттал из темноты и поклонился.

— Позвольте вам представить... — обратилась принцесса к Лимбургу. — Это Михаил Доманский...

Михаил Доманский. Польский шляхтич. В пятнадцать лет был пристроен дядей во дворец князя Радзивилла. Там, среди пиров, охот и диких оргий, вырос этот человек. Был избран депутатом сейма, принял сторону Конфедерации, участвовал в восстании против избрания королем Понятовского. После поражения бежал в Германию. И здесь вновь встретил своего прежнего господина Карла Радзивилла. Радзивилл целиком попал

под влияние двадцатишестилетнего Доманского. Теперь на всех съездах конфедератов от имени Радзивилла выступал Михаил Доманский...

Кавалькада едет в лунной ночи. Подъехав к замку Оберштейн, Доманский прощается со всеми и исчезает во тьме.

Рассвет.

В замке Оберштейн, в гостиной у догорающего камина сидели Лимбург и принцесса.

— Как вы догадываетесь, мой друг, — насмешливо начинает принцесса, — с нашим браком придется повременить. Покуда я не сяду на русский трон. Надеюсь, тогда вашим родственникам не понадобятся бумаги? И вам не придется более собирать обо мне сведения по закоулкам Европы...

— Невероятно! — вздохнул Лимбург. — Вы готовы отвергнуть таинство брака ради призрачной мечты?

Она гневно взглянула на него. Он помолчал, но потом добавил:

— Алин, мы одни. Поклянитесь мне... Более ничего не надо. Этой клятвы будет достаточно... Все, что я слышал сегодня, правда?

Она усмехнулась и торжественно сказала:

— Клянусь, что императрица Елизавета имела дочь от тайного брака, увезенную из России и воспитанную за границей!

— И кто же она, Алин? — не выдержал Лимбург.

Она посмотрела на него бешеными глазами:

— Я, Ваша светлость! И запомните навсегда: Алин умерла. Есть принцесса Елизавета.

И вдруг потянулась к нему, поцеловала. Потом оттолкнула и сказала:

— А сейчас вы вернетесь в Нейсес.

— Но...

— И не спорьте, Телемак: вы должны выполнить важное дело... Благодаря вашей глупой ревности в тайну оказался посвящен посторонний. Он знает о готовящейся экспедиции, этот желчный и злой человек. Я говорю о Рошфоре.

— Что вы еще хотите?

— Вы уже догадались. Я не могу рисковать делом всей своей жизни. Если вернетесь в Нейсес и снова посадите, — она усмехнулась, — «верного Рошфора» в государственную тюрьму И горе ему, если он выйдет оттуда, пока несвершится экспедиция к султану Я не хочу мертвецов.

И она вновь страстно поцеловала князя, и князь, как всегда, обмяк.

Лимбург и Рошфор отъезжают от ворот замка Оберштейн.

— Поглядите, Ваше высочество...

И Рошфор, смеясь, показывает на темные силуэты у стены замка. Лимбург молча глядит на лошадь, привязанную у потайной двери в стене.

— Не узнали, Ваше высочество? Это лошадь того самого поляка Доманского, который должен быть далеко отсюда...

— Послушайте, граф, — в бессильном бешенстве говорит Лимбург. — Ваша вечная подозрительность уже завела нас... вернее, вас в пропасть. Я не знаю даже, как сказать вам, но я должен вас...

— ...Арестовать! — говорит Рошфор, умирая от смеха.

— Но я не мог забыть эту лошадь... И в те недолгие часы, когда она допускала меня в Оберштейн, я всегда чувствовал присутствие этого человека. Появлялись кем-то написанные проекты ее писем турецкому султану, шведскому королю, гетману Огинскому. Теперь она переписывалась со всей Европой...

Замок Оберштейн. Принцесса, как тигрица, разгуливает по зале, когда входит Лимбург. Она швыряет ему в лицо скомканное письмо и кричит:

— Этот мерзавец! Этот хитрый подлый трус!

— К кому относится все это на сей раз?

— Гетман Огинский! И он смел называться моим другом! Я послала ему письмо в Париж, я предложила ему принять участие в моей экспедиции в Турцию с князем Радзивиллом... И что мне ответил этот жалкий изменник!..

Из письма Михаила Огинского принцессе 10 апреля 1773 года:

«Расположение мое к вам по-прежнему глубоко ношу в своем сердце... И поверьте, мой язык никогда не выдаст доверенной мне тайны. Но ваши предложения возбудили во мне воспоминания о временах оракулов, которые никогда не говорили определенно ни „нет“, ни „да“...»

— Этот негодяй делает вид, что не понял!

«И все-таки я желаю вам успеха, хотя не понимаю, какая дорога ведет к нему. Нет, нет, друг мой, лучше мне не быть вместе с вами в вашем начинании, ибо стоит мне только пожелать что-нибудь хорошее, как оно тотчас не исполняется...»

Она скомкала письмо, швырнула его на пол.

— Оказалось, этот трус уже ведет переговоры с Понятовским и Екатериной! Он решил вернуться в Польшу, он хочет получить отнятое имение — тридцать серебренников!

Наконец успокоилась, подняла скомканное письмо с пола, расправила:

— Это письмо я сохраню в своем архиве. Когда я сяду на трон, конфискую все земли этого предателя... Но зато другие дела хороши. Франция нас поддерживает, Радзивилл в конце недели выезжает в Венецию.

— Ах, дорогая, — вздохнул Лимбург, — мы перестали говорить с вами о чем-нибудь, кроме этой затеи.

— Вы смеете называть «затеей» святое предназначение?

Лимбург усмехнулся:

— Ну что ж, поговорим о нем. Мне кажется, вы смешно путаете имя своего отца. Казацкий гетман Кирилла Разумовский никогда не был тайным мужем императрицы Елизаветы. Мужем вашей матери был другой Разумовский — Алексей, родной брат казачьего гетмана. Вам следует знать точное имя своего отца, дорогая, — насмешливо закончил князь.

— Мой милый Телемак, — в гневе ответила она. — Я знаю имя своего отца. Просто мне сейчас нужны деньги от банкиров. А они слышали: в России восстали казаки. И если мой отец — казацкий гетман, следовательно, это люди моего отца захватили пол-России. Дочери такого человека можно дать деньги!

— Я до сих пор не знаю — придумала ли она немедленно это объяснение или так оно и было. Ее головка готова была изобрести в любой миг миллион историй. Как она была изворотлива!.. Когда я намекал ей на этого проклятого поляка, она спокойно объявляла, что нарочно возбуждает мою ревность, ибо чувствует: я к ней охлаждаюсь. И заливалась настоящими слезами, клянусь! 13 мая 1773 года я провожал ее в Венецию...

Коляска князя Лимбурга подъезжала к дому на окраине Мосбаха. В карете принцесса и Лимбург.

— Не грусти, мой милый, сегодня тринадцатое. Я люблю начинать этот день. Мне всегда везло в этот ведьмин день...

Около дома уже ждет карета, запряженная четверкой лошадей. У кареты прогуливается Доманский в дорожном плаще. Принцесса весело обнимает Лимбурга.

— Мы расстаемся ненадолго, в России перевороты совершаются быстро.

Она целует его и выпрыгивает из коляски. Доманский помогает ей пересест в карету.

И поскакали лошади. Она высовывается из окна кареты и кричит князю:

— До скорой встречи в Петербурге!

— Больше я ее не видел... Но когда она приехала в Венецию, я послал к ней своего нового гофмаршала, барона Кнорра. И он писал мне обо всем что с ней случилось... Началось в Венеции все восхитительно: и поляки, и французы были от нее без ума...

Венеция. Пестрая толпа заполнила набережную вдоль Большого канала. Все взоры — на палаццо на Большом канале, дворец французского посла. Над палаццо поднят королевский флаг. Из дворца под восторженные крики толпы выходит принцесса, окруженная польскими и французскими офицерами. Расшитые мундиры, перья на шляпах.

Все общество рассаживается в черные с золотом гондолы. Гондолы плывут по каналу, провожаемые криками толпы.

Откупорили шампанское. Принцесса поднимается в гондоле и, сверкая раскосыми огромными глазами, начинает свой вечный рассказ. Обрывки рассказа долетают до жадного слуха толпы на набережной.

— ...Заточили в Сибирь... отравили... но Господь...

— Да здравствует принцесса Всероссийская! — кричат в гондоле.

— ...И тогда, по завещанию матери... дядя мой Петр Третий... до моего совершеннолетия...

— Виват, освободительница! Чудо, ниспосланное провидением Речи Посполитой!

— ...И я не дам немке узурпировать трон! Я, внучка Петра Великого, истинно последняя из дома Романовых... Я верю, господа, вы поможете женщине!

— Да здравствует Елизавета Прекрасная! — В воздух летят обнаженные шпаги французов и поляков.

— А дальше... начались странные вещи... Радзивилл никак не мог отплыть с ней в Турцию. И только в июле я получил известие...

Венеция, 16 июля 1774 года.

На рейде — корабль.

Принцесса, Радзивилл, Доманский и пестрая свита на лодках подплывают к кораблю...

Барон Эмбс вносит в каюту драгоценный баул принцессы с архивом и пистолетами...

Принцесса стоит на палубе, морской ветер развевает ее красный плащ.

— В Константинополь, — шепчет принцесса. — Сбылось!

Корабль в открытом море. На палубе — принцесса и Радзивилл. Медленно корабль начинает разворачиваться. Появляется капитан — высокий алжирец.

— Ветер, — говорит капитан, — слишком сильный ветер... Мы должны возвращаться в Венецию.

— Как возвращаться?! — задыхнулась принцесса.

— Очень сильный ветер, — вздыхает капитан. — Ох, какой сильный ветер!..

И он усмехается. Хитрющий черноволосый алжирец.

— И опять они праздно жили в Венеции. Она была в ярости. Она бунтовала. И наконец Радзивилл нашел другого алжирского капитана.

Та же пестрая толпа поднимается на корабль, и тот же молчаливый барон Эмбс проносит в каюту загадочный баул.

И опять корабль в открытом море. Все дальше уходит Венеция: колонна Святого Марка, Дворец дождей — все исчезает в голубом мареве.

— Свершилось! — шепчет принцесса.

Они плывут. Ветер, морской ветер. Принцесса с наслаждением подставляет лицо ветру, когда на палубе появляется капитан.

— Ничего не поделаешь, — вздыхает капитан, обращаясь к принцессе и Радзивиллу, — ветер...

Корабль ложится на обратный курс.

— Я умоляю вас, — обращается принцесса к капитану, — мы должны...

Непроницаемое лицо молчаливого Радзивилла.

— Ветер, — вздыхает капитан. — Я не могу рисковать кораблем.

— Я сделаю вас адмиралом! — кричит принцесса. — Я награждаю вас орденом! Барон! — Она обращается к Эмбсу. — Принесите мой орден Азиатского креста!

— Ветер, — вздыхает алжирец, — мы направляемся в Рагузу.

— Она была одновременно и хитра и наивна. Даже я из писем моего гофмаршала уже понял, что произошло: Турция заключила мир с Россией. И Радзивилл испугался поехать в Турцию. Теперь султан мог попросту выдать его России. Ясновельможный пан не мог ехать. Но он не мог и не ехать. Слишком многих он оповестил о своей великой затее... И он выдумал все эти ветры. Но Алин по-прежнему участвовала в игре.

Письмо принцессы князю Лимбургу. 10 августа 1773 года: «Все чепуха, что сообщают в газетах. Там, как всегда, одни враки. Мой брат Пугачев набирает силу. В Турции влиятельная партия убедила султана разорвать договор и возобновить войну с Россией. Я уже написала два письма султану и со дня на день жду от него ответа. Я написала также

письмо графу Орлову и манифест к русскому флоту в Ливорно. Я уверена: вся эскадра, сам граф возьмут мою сторону».

— После мира с Россией Франция сразу отвернулась и от Турции, и от польских дел. Я получил запрос от французского двора, где в весьма холодном тоне просили сообщить сведения о женщине, именующей себя моей невестой. А ведь еще вчера... О люди! Французский консул в Рагузе попросил ее очистить консульство, Радзивилл не отправил султану ни одного из ее писем. В газетах кто-то напечатал пошлые сплетни о ней и самые непристойные истории. И все закончилось дикой сценой...

Рагуза.

Барон Эмбс выходит из дома. Двое французских офицеров, прогуливавшихся на улице, громким смехом встречают появление барона.

— Давно не виделись, барон!

Барон молчит, будто не слышит обращенных к нему слов.

— А где же ваша хозяйка? Ничего, что я называю эту продувную бестию вашей хозяйкой? — продолжает офицер под смех товарища.

Барон по-прежнему молча пытается уйти, но француз преграждает ему дорогу.

— Нет, я охотно назвал бы ее вашей любовницей, но боюсь обидеть других господ, справедливо претендующих на титул ее любовника. Например, недавно я прочел в газетах, что этот отважный поляк, господин Доманский, каждую ночь карабкается по отвесной стене вот этого дома в ее спальню.

Барон, все также не произнеся ни слова, дает ему пощечину.

— Ах, как я этого ждал! — смеясь, обращается офицер к барону. — Мне давно не терпится проверить: соответствует ли умение драться на шпагах чину капитана литовского войска, который вы так гордо носите?.. Или вы такой же капитан и барон, как ваша хозяйка — русская принцесса? Защищайтесь!

И француз выхватил шпагу, Эмбс — свою. Француз играючи прижал Эмбса к стене, когда у дома остановилась карета Радзивилла...

— Господа, остановитесь, что выделаете, господа! — Принцесса выскочила из кареты.

— Итак, принцесса, ваш друг — не капитан, — смеясь, сказал француз, продолжая теснить барона к стене. — Он совершенно не владеет шпагой. И это я докажу на счет «три». «Раз, два, три!» — И француз заколот несчастного барона.

— Он так и умер, не проронив ни слова.

Принцесса, плача, опускается у тела барона.

Радзивилл вышел из кареты. С непроницаемым лицом, молча он наблюдает сцену.

— Вы... вы... вы... все это сделали! — кричит принцесса Радзивиллу. — Вы держите меня в этой проклятой Рагузе. Но берегитесь!

— Вы несколько забылись, Ваше высочество, — сухо говорит Радзивилл. — Вам следует оплакивать вашего верного слугу, а не кричать, как торговка.

Наступил вечер. В замке Нейсес Лимбург и Рибас заканчивали долгий разговор.

— После этого она слегла в постель. Сильно кашляла... врачи боялись, что дело дойдет до чахотки.

Я написал ей письмо в Рагузу, но она не ответила. А потом отослала из Рагузы и моего гофмаршала. Единственное, что меня успокаивает: эти проклятые поляки отвязались от нее. Теперь она им не нужна. Но меня мучает другое: она осталась в Рагузе без денег. А она совершенно не может жить без денег. Без воздуха, без воды — может, а вот без денег...

— Ее нет в Рагузе, — усмехнулся Рибас.

— А где она? — испуганно закричал князь.

— Она села на корабль того самого алжирского капитана, который не смог доставить ее в Турцию. На этот раз он довез ее в Неаполь. Но сегодня ее уже нет и в Неаполе.

— Где она? Где? — умоляюще повторял Лимбург.

— В Риме. Там сейчас самое пекло — выборы нового папы. И, естественно, она там, ибо вновь полна жажды деятельности ваша неутомимая невеста. Кстати, вам не кажется странным, что она, у которой действительно не было денег, легко нанимает вдруг корабль? И, несмотря на смертельную ссору с Радзивиллом, на этот корабль с ней садятся два поляка из его ближайшего окружения? Михаил Доманский... Да, да, я знаю, вы думаете, что он... Но с ней поехал и другой сподвижник Радзивилла и тоже важный деятель Конфедерации — некто Черномский. Значит?.. Может быть, ссора с Радзивиллом над трупом несчастного барона была лишь представлением? И поляки совсем не вышли из игры? Просто в силу новых обстоятельств князь Радзивилл решил показать, что вышел... На случай если решит помириться с русской императрицей и вернуть себе земли? Так что прежний союз сохраняется. Только тайно. И ваша подруга продолжает свою опасную игру. Очень опасную... — Помедлив, он добавил: — Конечно, если у нее нет доказательств, что она действительно...

— А если есть?

Рибас молчал.

— Значит, тогда ее поддержат в России? — заволновался князь.

— Я ничего такого не сказал, — усмехнулся Рибас. — Просто могущественные люди, которые меня к вам прислали, интересуются вашим мнением на этот счет.

Лимбург только вздохнул.

— Каждый день все представало мне в ином свете... Когда она клялась мне — я готов был поверить... Но очень скоро мой посол при австрийском дворе сообщил о некой женщине. Ей было восемнадцать лет, когда она появилась в Бордо и стала выдавать себя за незаконную дочь австрийского императора. Самое удивительное — все банкиры ссужали ей деньги. По требованию императрицы Марии-Терезии ее выдали австрийцам, и те посадили ее в тюрьму. Это было в 1769 году. Через полгода она соблазнила начальника тюрьмы, и он помог ей бежать. Это случилось как раз в 1770 году, то есть когда Алин впервые появилась в Генте, где действительно соблазнила голландского купца, умершего под именем Эмбса... Самое удивительное — я все это знаю, но тем не менее ей верю... Потому что порой среди безумных, нелепых выдумок, которыми были полны ее рассказы, в них начинала проглядывать какая-то таинственная правда. Например, она сказала мне, что до десяти лет воспитывалась при русском дворе. Я говорил с прусскими дипломатами, жившими в то время в Петербурге, и все они утверждали, что при дворе воспитывалась девочка, которую представляли «близкой родственницей императрицы Елизаветы» и которая вдруг исчезла, когда ей исполнилось десять лет. Эту девочку поручили воспитывать Иоганне Шмидт, любимой наперстнице императрицы. Имя этой Шмидт в последнее время очень часто мелькало в рассказах Алин вместе с другими удивительными подробностями жизни императрицы Елизаветы... Нет, я не знаю, кто она... Я все время думаю... и не знаю. Но одно знаю: я хочу, чтобы она вернулась, несмотря ни на что!

— Я сделаю все, Ваше высочество, чтобы она вернулась в Оберштейн, — с чувством сказал Рибас.

— Я был рад нашей беседе. Увы, граф Рошфор меня покинул. А мне так нужно с кем-то о ней говорить. Я не могу о ней не говорить!

Лимбург встал, подошел к бюро, взял лист бумаги и торопливо начал писать.

Из последнего письма князя Лимбурга, отправленного им своей невесте:

«Из-за вас я отказался от множества выгодных партий и теперь до конца дней намереваюсь жить в одиночестве. Вы не только совершенно расстроили мое состояние — вы навлекли на меня презрение всей Европы. Ваши бесконечные похождения сделали меня посмешищем в глазах моих родственников. Но вы знаете мою вечную присказку: „Нельзя ненавидеть того, кого любишь“. Коли вы готовы отказаться от своего прошлого и если впредь не станете поминать никогда о Пугачеве, Персии и прочих такого же рода глупостях, знайте, что вас всегда ждут в Оберштейне».

Князь запечатал письмо, подумал и, вздохнув, надписал: «Ее высочеству принцессе Елизавете». И протянул письмо Рибасу:

— Вы передадите ей.

Двойные игры в галантном веке

*У него всегда на
луке — две тетивы.*

Французская поговорка

Дворец графа Орлова в Пизе.

Парк перед дворцом: белые статуи античных богов сквозь листву и открывающаяся отсюда, из палаццо, панорама средневекового городка — как декорация к «Ромео и Джульетте».

В парке за мраморным столиком сидел Орлов и читал донесение Рибаса. Поодаль стоял слуга Рибаса.

Орлов закончил читать письмо, прошелся по аллее. Потом сказал:

— Обожди пока в доме, милейший.

Слуга исчез в доме, и тотчас в парке появился Христенек.

— Перо и бумагу, — приказал граф.

Христенек принес перо и бумагу, разложил все на маленьком столике и приготовился привычно писать под диктовку графа.

— Скажи, милейший, что нужно сделать, коли ты не хочешь выполнить приказ?

— Объяснить начальнику, в чем он не прав.

— Ты на русской службе, — усмехнулся граф, — так что запомни: у нас муж и начальник всегда прав. Самые нелепые приказы в России не отменяются, они просто не выполняются. Дескать, как же, исполню, батюшка, со всем старанием, а исполняешь, — он засмеялся, — что сам хотел... Поди с богом, я сам напишу письмо.

Орлов сидел за мраморным столиком и писал.

Из письма графа Алексея Орлова императрице Екатерине 1774 года, декабря 23 дня, из Пизы: «...И стану стараться со всевозможным попечением волю Вашего императорского величества исполнять. И все силы употреблю, чтобы оную женщину самому достать обманом, буде в Рагузе она находится. И коли первое не удастся, тогда употреблю силу, как Ваше императорское величество изволили мне предписать...»

— Вот так-то, матушка, сначала, как я сказал, будет, а уж потом только, как ты повелела. Рабы твои, да не холопы.

Он продолжал писать:

«...для чего от меня послан был в Рагузу человек для разведывания об одной женщине, и тому уж более двух месяцев никакого известия об нем не имею. И я сомневаюсь: либо умер он или где-нибудь задержан и не может о себе известия дать. А человек был надежный и доказан был многими опытами в своей верности».

Он еще посидел за столиком, опять усмехнулся и приписал:

«А если слабое мое здоровье позволит мне на кораблях уехать, то я не упущу — и сам в Рагузу отправлюсь, чтобы такую злодейку всячески достать...»

— Здесь до бешенства дойдет... воду пить будет.

Он писал: «Свойства же одной женщины описываю: что очень она заносчивого и вздорного нрава и во все дела с превеликою охотою мешается. И всех собой хочет устранивать, объявляя при том, что со всеми европейскими державами в переписке. Повергая себя к священным стопам Вашим, со всеглубочайшею моею рабской преданностью Вашего императорского величества всеподданнейший раб граф Алексей Орлов».

Позвонил в колокольчик, вошел Христенек.

— Письмо немедленно отправить в Санкт-Петербург с нарочным Миллером. Ну а сам готовься.

— В Рим, — заулыбался Христенек.

— Со слугой Рибасовым поедешь, в гостиной он тебя дожидается. Рибаса в Риме сменишь. Глаза он там уж, чай, всем намозолил... Инструкции получишь утром. *Знакомство* готовить будешь.

Христенек вопросительно уставился на графа.

— *Знакомство* графа Алексея Григорьевича со злодейкой.

И, усмехнувшись, граф Алексей Григорьевич протянул Христенеку письмо для императрицы.

Граф остался один, походил по аллее и вновь взялся за перо.

Второе письмо из Пизы графа Орлова императрице Екатерине, датированное 5 января 1774 года: «Всемиловитивейшая государыня. По запечатаний всех моих донесений Вашему императорскому величеству получил я внезапно известие от посланного мною для разведывания офицера, что известная женщина больше не находится в Рагузе. И многие обстоятельства уверили посланца моего, что она вернулась в Венецию с князем Радзивиллом, и он, ни много не мешкая, поехал за ними вслед, но по приезде в Венецию нашел только одного Радзивилла, а она туда не приезжала. О Радзивилле, кстати, новое говорят. Будто он хочет

возвращаться в свое отечество и замириться с польским королем».

— Это бальзам тебе на раны после того письма: смирился пред тобою проклятый поляк. После хлыста пряник-то полезен. Баба...

И Орлов продолжал писать: «А об известной женщине офицер разведал, что поехала она в Неаполь. А на другой день я получил из Неаполя письмо от аглицкого министра Гамильтона, что она женщина в Риме, где себя принцессою называет. Оное письмо в оригинале на рассмотрение Вашего императорского величества посылаю. А от меня нарочный послан в Рим — штата моего генеральс-адъютант Христенек, чтобы стараться познакомиться с нею и чтоб он ей обещал при том, что она во всем положиться на меня может. И буде уговорить ее приехать сюда ко мне. Министру аглицкому Гамильтону и посланнику в Ливорно кавалеру Дику приказал писать к верным людям, которых они в Риме множество знают, чтоб те люди советовали известной женщине приехать ко мне сюда, что-де она от меня всякой помощи может надеяться...»

Рим.

Недалеко от Марсова поля на узкой римской улочке стояли два дома — один против другого. У одного из этих домов ждала карета с опущенными занавесками. Из дома к карете вышли два молодых человека — оба в польских кунтушах, с длинными саблями, бренчащими по булыжной мостовой.

В доме напротив у окна Христенек и Рибас наблюдали за происходящим.

— Высокий, молодой — это ее любовник Михаил Доманский, человек Радзивилла, — объяснял Рибас Христенеку. — Постарше, тучный — Черномский, человек графа Потоцкого. Где он только не интриговал — и в Турции был, и в Версале. Так что вся мятежная Конфедерация сейчас у кареты стоит.

Доманский и Черномский, бренча саблями, прогуливаются у кареты. Собирается толпа зевак.

— Ох, хитры, — шепчет Рибас, — вишь, занавески у кареты опущены... на окнах дома — тоже. Вроде тайну соблюдают, а сами усищами да саблями народ пугают. Это чтоб слух о ней полз. Весь город уже говорит: русская принцесса!

Из дома вышла принцесса в кроваво-красном плаще. Толпа во все глаза разглядывала принцессу.

— Хороша, — шепчет Христенек.

Принцесса, как бы спохватившись, торопливо набрасывает капюшон

на лицо, садится в карету. За ней садятся Доманский и Черномский. Карета трогается...

— Теперь наша очередь! По грязной мраморной лестнице черного хода Христенек и Рибас спустились вниз. За домом их тоже ждала карета...

Две кареты едут по Риму. Карета принцессы сворачивает к собору Святого Петра. — В Ватикан едет... Все кардиналы сейчас там находятся. Из дворца не могут выйти, пока папу не изберут. Как под арестом сидят. Своя она в мутной водице, — шепчет Рибас.

Карета принцессы остановилась у собора Святого Петра. Карета Рибаса останавливается поодаль. — Письмо у нее к польскому кардиналу Альбани, — продолжал объяснять Рибас Христенеку, — по слухам, он будет избран папой. Но видется она с ним не может. Из папского дворца нельзя ему выйти.

Джиованни Альбани — кардинал-протектор Польского королевства, декан Священной римской коллегии. В 1774 году по Риму действительно ходили слухи, что он будет избран папой. К карете принцессы подошел человек в сутане.

— Секретарь кардинала аббат Рокотани. Через него она ведет все переговоры с кардиналом, запертым во дворце, — продолжал объяснять Христенеку Рибас.

Доманский и Черномский выходят из кареты принцессы, почтительно помогают ей ступить на землю. Принцесса в низко опущенном на лицо капюшоне идет рядом с аббатом. Они о чем-то беседуют. За ними следует сонный молодой итальянец.

— Это слуга аббата Рокотани, — поясняет Рибас. — Каждый месяц будешь выдавать ему три цехина. Христенек расхохотался.

В доме на Марсовом поле Христенек и Рибас вновь заняли место у окна: следят за улицей — ждут возвращения принцессы.

— Содержание дома стоит пятьдесят цехинов, — продолжал вводить Христенека в курс дела Рибас, — кареты — тридцать пять цехинов, слуг — пятьдесят цехинов. Короче, она вся в долгах... И кардинал Альбани ее последняя надежда. Все ее бриллианты, все ее лучшие платья в ломбарде. И притом каждый вечер пиры и приемы. Никогда не видел такой мотовки. Я позаботился, чтоб ей предъявили векселя.

— А не сбежит ли попросту из Рима? — спросил Христенек.

— Вы ее поняли. Она действительно сбежала в свое время вот так из Парижа и из Рагузы. Но я уже рассказал кредиторам. Поглядите на ту сторону улицы...

По мостовой в плаще и в широкополой шляпе слонялся человек. Взад и вперед, — Его нанял банк Беллони, которому она должна фантастическую сумму. Он следит за ее домом. Другой человек нанят банком Морелли. И ездит за ней по городу. Да она и сама сейчас не сбежит. У нее надежда продолжать игру. Она письма написала прусскому королю и султану. Главный расчет — этот Альбани. Ему пятьдесят четыре, и она очень рассчитывает на свои чары. Но ей нужна встреча! А Альбани заперт в конклаве. Ей же не терпится! Она вообще не умеет ждать. Недавно она решила переодеться в мужское платье и проникнуть в конклав. С трудом ее отговорил ее любовник Доманский.

— Откуда вы все знаете, сударь?

— Три цехина его камердинеру, — вздохнул Рибас.

— Сударь, я все больше радуюсь, что судьба свела меня с вами, — засмеялся Христенек.

Из дома принцессы вышли двое в сутанах. И, крадучись, быстро пошли прочь по улице.

А вот и отцы иезуиты. Орден упразднен бывшим папой. Но она уже пообещала им помощь папы будущего. Сейчас вокруг нее множество этих коварных созданий. Орден распущен, но еще как силен! Поживете в Риме — почувствуете.

— Ну баба! — восторженно сказал Христенек.

В дверь троекратно постучали. Рибас отворил. На пороге стоял тот самый молодой сонный итальянец — слуга Рокотани. Он тихо и долго что-то говорил Рибасу по-итальянски. Рибас слушал, а потом со вздохом передал итальянцу деньги.

— Деньги, деньги... Только русский граф может такое выдержать, — проворчал Рибас, вернувшись к окну. И пояснил Христенеку: — Она пригласила аббата Рокотани сегодня на ужин. Будет просить деньги — это ее последняя надежда.

Рибас взглянул на часы.

— Пожалуй, и мне пришло время в адово пекло заглянуть.

Рибас надел шляпу.

— Ох-хо-хо... — зевнул Христенек.

— Сосни с дороги, — ласково сказал Рибас, — чую, скоро тебе выходить на сцену с графским предложением.

Рибас стоял у великолепной мраморной лестницы. По лестнице к Рибасу величественно сходил Доманский.

— Чем могу служить? — вежливо спросил поляк.

— Я хотел бы видеть, синьор, Ее высочество принцессу Елизавету Всероссийскую.

— Синьор ошибся. Этот дом принадлежит польской графине Зелинской.

Рибас поклонился и сказал:

— И все же я мечтал бы увидеть, синьор, Ее императорское высочество принцессу Елизавету Всероссийскую, путешествующую под именем графини Зелинской. — И добавил: — Я привез письмо от ее жениха Его высочества князя Филиппа Фердинанда Лимбурга. И могу передать только в собственные руки.

— Боже мой! Письмо от Филиппа, — раздался за спиной Рибаса женский голос.

И маленькая дверь в стене распахнулась. Принцесса, в красной амазонке, с распущенными волосами, стояла в дверях.

«Слушала за дверью...» — усмехнулся Рибас.

Они сидели в узкой маленькой комнате на втором этаже. Доманский молча стоял у дверей, а принцесса и Рибас беседовали у окна. Иногда Рибас поглядывал на окно дома напротив, где за шторой прятался Христенек.

— В добром здравии мой супруг? — щебетала принцесса. — Ах, милый моему сердцу Оберштейн, я так тоскую...

Она открыла письмо, быстро пробежала его и передала Доманскому:

— В мой архив.

Доманский ушел с письмом. Беседа продолжалась.

— Я напишу князю и отправлю послание со своим человеком. Когда вы возвращаетесь туда?

— Завтра утром, Ваше высочество.

— Замечательно! Вы можете сегодня отужинать у меня. Я жду к себе аббата Рокотани — секретаря Его высокопреосвященства польского кардинала Альбани.

«Это чтоб я сообщил Лимбургу, как хороши ее дела...»

Она посмотрела на часы и сказала:

— Прошу вас обождать. Я должна непременно сегодня отписать в Неаполь моему новому другу — английскому посланнику лорду Гамильтону.

И она исчезла за дверью. Рибас остался один. Постепенно маленькая

комнатка стала наполняться людьми — появились слуги, оба поляка, камеристка принцессы. Все столпились в маленькой комнате, когда слуга объявил:

— Аббат Франциск Рокотани.

Рокотани вошел в комнату.

«Ишь, выбрала комнату узкую — чтоб слуг казалось поболее. Ох и хитра».

— Принцесса ждет вас, святой отец, — сказал Доманский и распахнул занавес в конце маленькой комнаты.

Аббату и Рибасу представилась огромная зала, залитая ослепительным светом. Все свечи были зажжены, горели люстры, сверкали зеркала.

Принцесса в красной амазонке сидела у стола, как бы погруженная в сочинение письма.

— Ах, святой отец, — и она устремилась к аббату, — я только что с прогулки и вот уже сижу за письмом. Мой большой друг — английский посол в Неаполе лорд Гамильтон — попечительствует обо мне. И сам предлагает мне некоторый кредит. И вот я пишу печальное письмо с отказом... Ибо невозможно брать деньги у министра двора, который находится в союзе с врагом моим Екатериной... — Она внимательно посмотрела на аббата. — Хотя деньги мне очень нужны на святое дело освобождения родины.

Но лицо аббата было невозмутимо. Он ничего не ответил. И принцесса переменила тему:

— Надеюсь, святой отец, вас не шокирует мой костюм. Я, как моя мать, русская императрица Елизавета, обожаю носить мужское платье.

«Женские в ломбарде заложены...» — усмехнулся про себя Рибас.

— Помню, в детстве, — продолжала принцесса, — на маскарады мать часто надевала мужской костюм. У нее были прекрасные длинные ноги. Она была великодушна, хотя немного вспыльчива. Когда княгиня мадам Лопухина осмелилась вдеть в волосы розу, которая была в тот день в прическе моей матери, мать била ее по физиономии... О нравы! — И мельком взглянула на Рибаса и, будто спохватившись, представила аббату: — Это посланец моего жениха князя Лимбурга.

«Молодец баба, ничего не упускает, теперь и я в дело пошел...»

— Князь часто пишет мне письма. Ах, эта разлука — печаль моей жизни. Я ценю любовь князя, но обязанность перед троном предков не позволяет мне вернуться к частной жизни. Передайте Его преосвященству

кардиналу: обстановка в России действительно осложнилась. Недавно там погиб мой посланец, человек больших военных талантов. Я имею в виду господина Пугачева... Тем не менее партия моя в России сильна. И прежде всего это братья Орловы... Тут она внимательно посмотрела на Рибаса. Он выдержал взгляд — ни один мускул не дрогнул на лице испанца.

«А ведь точно: ведьма...»

— Кардинал Альбани очень интересуется ими, — сказал аббат.

— Это благородные люди. Григорий Орлов, например, был против раздела несчастной Польши. И пусть они не самые образованные, пусть своевольны и подчас дики, но личная их преданность мне многое искупает. Влияние их при дворе продолжается.

«Откуда она все знает?..»

— А если учесть, что весь русский флот в Ливорно находится под началом графа Алексея... — Она многозначительно улыбнулась. И продолжала: — В Персии мне обещано шестьдесят тысяч войска. Я решила направиться отсюда к султану. Скорее всего, я поеду через Польшу. Я знаю привязанность кардинала к королю Станиславу Понятовскому. Я также давно поддерживаю короля, хотя друзья мои, как вам известно, связали себя с Конфедерацией. Но мне удалось уговорить Карла Радзивилла помириться с королем.

«Ох и баба! Сама придумала? Или ее устами все-таки говорит сам Радзивилл и его партия?..»

— А что вы скажете о Радзивилле? — спросил аббат.

— Ах, святой отец. — Она тонко улыбнулась. — Для приобретения значения в истории недостаточно происхождения и богатства, нужно еще и немного политического чутья. И я счастлива, что мне удалось примирить такого скандального и упрямого человека с польским королем. Моя цель — единая и могучая Польша в прежних границах. Но есть еще и другая цель, — она сказала это торжественно, — передайте Его высокопреосвященству: я решила склонить мой народ к признанию римской церкви. Клянусь страданиями народов моих, я приведу их души в лоно католичества.

Наступило молчание.

— Иногда вы мне кажетесь болтушкой двадцати лет. Но через мгновение я вижу перед собой зрелую женщину, мудрую и осведомленную.

— Но прежде чем мы перейдем к столу, я хочу вас попросить сообщить Его высокопреосвященству, что мне решительно не хочется брать деньги у англичанина.

Она вопросительно, почти с мольбой глядела на аббата. Но аббат только опустил глаза и промолчал.

«Браво! Это конец!..»

— К столу, господа, — сказала глухо принцесса.

Она была в ярости.

В этот момент в залу вошел худой старик в черном камзоле.

— Разрешите представить, господа: врач Ее высочества господин Салицети, — объявил молчаливый Доманский.

Рибас понял, что пришла и его пора вступить в разговор.

— Счастлив познакомиться, господин Салицети. Мой патрон князь Лимбург заклинал меня найти вас и разведать о здоровье Ее высочества.

— Если считать, что постоянное отсутствие сна, работа после полуночи за письменным столом, а потом кошмары во сне, частые горячки, упадок сил, кашель и боли в груди должны свидетельствовать о здоровье этой молодой красавицы, то она здорова. Передайте ее супругу...

— Послушайте! — закричала в бешенстве принцесса. — Я вам плачу не за то, чтобы к ужасным сплетням обо мне прибавлять новые!

И она бессильно разрыдалась. Вся ее неудача была в этих слезах. Но в следующее мгновение она уже взяла себя в руки и, засмеявшись, сказала светски:

— Уж эти доктора! К столу, господа.

Аббат и Рибас возвращались в карете аббата.

— Очаровательное лицо... Восхитительная фигура... и этот румянец! — восторженно восклицал аббат.

— Это лихорадочный румянец. Я думаю, у княжны чахотка, — сухо сказал Рибас.

— Не знаю, не знаю, — продолжал шутливо аббат. — С ней надо держать ухо востро. Вот-вот закружит голову.

— А вам не кажется, святой отец, что все это представление было затеяно, чтобы попросту занять деньги у кардинала? Я слышал, княжна в больших долгах, и думаю, что никакого щедрого англичанина не существует.

— Ах, мой друг, она так прекрасна, что я с удовольствием исполнил бы ее желание. Но, к сожалению, кардинал совсем не щедр. К тому же он слишком трезво мыслит. И все, что я доложу ему об этой встрече, покажется ему фантастичным и небезопасным, могущим быть источником больших несчастий и для нас, и для этой женщины.

— По-моему, она сама это чувствует, — сказал Рибас. — Когда она

зарыдала, мне показалось, что я уже присутствую при конце третьего акта.

Всю эту сцену аббат описал в своем докладе кардиналу Альбани от 18 декабря 1774 года.

Была уже ночь. В доме на Марсовом поле у окна по-прежнему сидел Христенек, когда дверь отворилась и вошел Рибас.

— Итак, моя миссия окончена, — усмехнулся Рибас — Ваш выход на сцену!

Он уселся в кресло, налил себе вина из бутылки. Христенек хранил молчание.

— Кардинал не дал ей денег, и завтра на ее карету нападут кредиторы. Христенек внимательно слушал.

— Это организовал по моей просьбе некто Дик, — продолжал Рибас, — английский консул в Ливорно. У него связи с банкирским домом Беллони. И он им это присоветовал. Нападение произойдет у ее дома, когда она будет возвращаться с утренней мессы. Вы должны...

— Я все понял, сударь. Это действительно лучший способ выйти на сцену. Не перестаю вами восхищаться, — сказал Христенек.

Был рассвет, когда Рибас вышел из дома. У дома его уже ждал слуга с двумя лошадьми. Рибас вскочил в седло. И они отправились в обратный путь в Пизу.

Днем Христенек занял свое место у окна. Около дома принцессы он увидел кучку людей в широкополых шляпах. Они ждали. Наконец раздался стук копыт и шум подъезжающего экипажа.

Христенек взял шпагу...

Карета принцессы подъехала к дому. Один из кредиторов схватил под уздцы лошадь, остальные окружили экипаж. Занавески раздвинулись, и в окне показалась головка принцессы.

— В чем дело, господа?

— Вы должны заплатить долги, Ваше высочество или как вас там называть. Директор почт запретил подавать вам лошадей, пока вы не заплатите.

— Послушайте, синьор, — спокойно сказала принцесса, — вам все будет уплачено. На днях я должна получить большие деньги...

— Это нас очень радует, — ответили в толпе. — Но вы должны заплатить нам сейчас маленькие деньги, иначе вас не выпустим.

Из дома к карете уже бежали Доманский и Черномский с

обнаженными шпагами. Но нападавшие выхватили свои шпаги, и вокруг кареты завязалось сражение...

Христенек со шпагой бросился в толпу сражавшихся, когда занавески кареты вновь раздвинулись и два револьвера уставились на нападавших.

— Шпаги в ножны, — спокойно сказала принцесса. — Иначе я пристрелю вас, банкир Беллони. — Она направила оба дула на высокого человека в маске. — Да, да... даже под маской я узнаю вас по препротивному голосу! Я не шучу... Обычно считают до трех, у меня привычка считать до двух, далее мне становится скучно.

Она разрядила пистолет.

— Не надо! — в ужасе закричал человек в маске.

— Я пробила вашу шляпу ровно на дюйм выше головы. Это последнее мое предупреждение.

— Уберите шпаги, — проворчал человек в маске. — Но учтите, вы считаете до двух, и я тоже... На третий день вы, а также господа Доманский и Черномский, подписавшие ваши векселя, будете препровождены в тюрьму. И не пытайтесь бежать: Рим не Париж, за каждым вашим шагом будут следить.

Беллони и его люди уходили по узкой римской улице. Иногда они оборачивались и грозили кулаками...

У кареты остались Доманский, Черномский и Христенек. Лейтенант вложил шпагу в ножны и учтиво поклонился принцессе.

— Кто вы, прекрасный юноша? — усмехаясь, спросила принцесса из окна кареты.

— Я посланный, Ваше высочество.

Лицо принцессы тотчас стало недоверчивым.

— От кого, сударь?

— От того, кому вы писали. От командующего Российским флотом Его сиятельства графа Алексея Григорьевича Орлова.

— Вы русский? — хмуро спросила принцесса.

— Я славянин из Рагузы, но состою на русской службе. Мне пришлось оставить службу, чтобы прибыть сюда, не вызывая подозрений.

Принцесса обратилась к Доманскому.

— Пригласите господина... — Она вопросительно посмотрела на лейтенанта.

— Лейтенант Христенек. Иван Христенек.

— ...синьора лейтенанта зайти к нам в ближайшие дни.

Она вышла из кареты.

— Послезавтра в час дня Ее высочество будет ждать вас, — сказал

Доманский Христенеку.

— Через день ровно в час дня я стоял у дома принцессы...

Христенек постучал в дверь. Открыл слуга.

— Как доложить?

— Иван Христенек, бывший лейтенант Российского флота.

— Не велено принимать, — сказал слуга.

— Ты в своем уме, братец? Мне назначено.

— Принимать не велено.

В прихожей появился Доманский.

— Ее императорское высочество... — начал Доманский и уставился на Христенека, будто желая понять, какое впечатление произвел на него титул. Лицо лейтенанта выразило почтение. — Ее императорское высочество не принимает по случаю нездоровья.

— Когда разрешите навеститься?

— Зайдите послезавтра в час дня, — откровенно издеваясь, сказал Доманский.

В своем доме Христенек принимал английского банкира Дженнинга.

— Вы предложите ей две тысячи червонцев от имени графа и уплату всех ее долгов банкирским домам Беллони и Морелли.

— Я хочу предупредить... — начал Дженнингс. — Для нормального человека это огромная сумма, на нее можно жить всю жизнь. Но она все просадит за неделю.

— Господин Дженнингс, вам все будет уплачено.

— Я знаю, но мне попросту жалко денег. Свои они или чужие, но это деньги. Я предупреждаю: эта женщина их проглотит и не почувствует.

— Итак, вы предложите ей от имени графа две... нет, три тысячи червонцев. И я жду вас с нетерпением, мистер Дженнингс.

Поздним вечером банкир Дженнингс вернулся в дом Христенека.

— Вы не поверите... — сказал банкир, опускаясь в кресло.

— Не взяла?! — в восхищении спросил Христенек.

— Сначала схватила... думала, что это от меня, что я поверил наконец в ее сказки. Но когда узнала про графа, сказала, что весьма благодарна, но в деньгах не нуждается, ибо ждет большую сумму из Персии со дня на день. Ну, дальше пошли султаны, принцы, короли...

— Вы должны предупредить всех римских банкиров, — начал Христенек.

— Можете не беспокоиться, никто в Риме не ссудит ей ни гроша. Так

что можете спокойно ждать. Послезавтра к ней придет полиция и уведет поляков. Это она бы еще пережила. Но жить, не швыряя деньгами... Нет, это совершенно для нее невозможно. Так что ждите спокойно: я уверен — все случится завтра утром.

— На следующее утро я был у дома принцессы...

Христенек стоит у дома принцессы. Он хотел было постучать, но дверь дома открылась, и оттуда выпорхнула принцесса.

— А я как раз собираюсь на прогулку, — сказала она, сияя улыбкой. — Как здесь тепло в декабре! А у нас на родине сейчас, должно быть, морозы. В Петербурге в декабре такие холода...

— Я никогда не бывал в Петербурге. Граф взял меня на службу в Ливорно.

— Ничего, побываете. У вас еще все впереди, мой юный друг! Помню, в детстве: идет снег, топится печь... А в Сибири морозы — железо трещит и лопаются! Я так скучаю по своей стране. Однако что ж мы стоим? Не соблаговолите, лейтенант, сопровождать меня на прогулку?

Принцесса и Христенек верхом едут по Риму.

— Наш банкир Дженнингс в совершеннейшем удивлении. Признаюсь, и я удивлен не менее. Граф считал, что, заплатив долги Вашего высочества, он тем самым изъяснит свою готовность...

Принцесса молчала.

— ...изъяснит свою готовность содействовать тому делу, о коем вы ему писали. Но вы не только не приняли услуг банкира... я до сих пор не могу передать вам письмо графа. Я просто не знаю, как сообщить обо всем этом Его сиятельству.

— Письмо при вас, лейтенант? — спросила принцесса.

— Да. Граф написал его по-немецки, он не силен во французском, но я могу вам перевести.

— Благодаря образованию, полученному щедротами моей августейшей матери, я понимаю и по-немецки, — улыбнулась принцесса.

Она взяла письмо, торопливо разорвала конверт. По ее судорожным движениям было ясно, как давно ей не терпится его прочесть. Не слезая с лошади, она пробежала письмо глазами. Потом взглянула на лейтенанта.

— Вам известно, о чем пишет граф?

— Да, Ваше высочество.

— Итак, граф зовет меня к себе в Пизу. — Некоторое время она молча ехала на лошади. — Ну что ж, личное знакомство с графом и было моим желанием, — начала она медленно и вновь зашебетала: — Ах, мой друг, это

восхитительное письмо! И не сердитесь: я не принимала вас отнюдь не оттого, что подозревала в коварстве. Будучи сама по природе открытой, мне невозможно подозревать неискренность в других. Просто болезнь иногда повергает меня в состояние тягчайшей меланхолии. И тогда я начинаю спрашивать себя: если граф искренен со мной, зачем он подослал ко мне этого человека?

И глаза принцессы впились в Христенека.

— Какого человека, — изумился лейтенант.

— Того самого... синьора Рибаса, каковой мне привез письмо от мужа моего... Но послал его граф.

Христенек продолжал находиться в изумлении.

— Граф послал меня, — начал он твердо. — И если у вас есть какие-то доказательства, что граф послал еще кого-то, что граф нечестен, извольте сказать.

— Доказательств нет. Просто я чувствую, — сказала принцесса, не сводя глаз с Христенека.

Но лейтенант был само негодование:

— Я не передам ваших слов графу, ибо он их не заслуживает. Репутация графа известна и безукоризненна. Поверьте, нелегко ему было прийти к такому решению — послужить вам. И отнюдь не несправедливые обиды от императрицы, но желание блага отечества... желание помочь законной наследнице трона...

В глазах Христенека стояли слезы.

— У вас благородное сердце, — с чувством сказала принцесса. — Итак, жалую вам мой орден Азиатского креста. И клянусь: за удачное исполнение этой миссии граф Орлов повысит вас в чине! Итак, майор Христенек, завтра со всем своим двором я выезжаю в Пизу... — И, будто спохватившись, она прибавила: — Да, там заходил этот банкир от графа... Пусть он сегодня снова зайдет.

У дома принцессы стоял большой дорожный берлин, запряженный шестеркой лошадей. Доманский и Черномский руководили слугами. Принцесса в дорожном плаще придирчиво наблюдала за дорожной суетой.

— Архив, — шепнула она Доманскому.

Доманский исчез в доме и вернулся со знакомым большим баулом.

— Я позабочусь о нем, — говорит поляк.

— Пистолеты?

Доманский кивнул, указывая на баул.

— Два положите в карету. И оба заряженные... Вы поедете с вещами в

берлине. Я, Черномский, моя камеристка и... — она ласково взглянула на стоявшего поодаль Христенека, — и господин русский майор поедет в карете.

— Лейтенант, — улыбаясь, поправляет Христенек.

— Я обещала вам майора... Учтите, я всегда держу свои обещания.

У дома появился банкир Беллони.

— Вот этот господин сейчас подтвердит. Вам все заплатили?

Беллони низко кланяется.

— Боюсь, что не до конца...

— Синьор Доманский... — усмехается принцесса.

Доманский молча подходит к Беллони и отвечает ему звонкую пощечину.

— И передайте всей вашей жадной своре: я всегда плачу по счетам!

Две огромные кареты ехали по Риму. У церкви Сан Карло кареты остановились.

Принцесса вышла из кареты и раздала щедрую милостыню нищим.

— Молитесь за меня, — услышал Христенек из окна кареты ее голос.

При приветственных криках толпы нищих оба экипажа направляются по Корсо к Флорентийской заставе. И покидают Рим.

Орлов: Сиятельная любовь

«Я нанял для нее в Пизе великолепное палаццо...»

Дворец в Пизе. У огромного окна стоял граф Орлов. Он видел, как ко дворцу подкатили кареты.

«Гонец от Христенека сообщил мне, что с ней едут 60 человек челяди, два поляка и камер-фрау». Кареты остановились. Христенек помог принцессе выйти из кареты. Из огромного берлина шумно высаживались слуги.

Орлов стоял в конце длинной анфилады роскошных комнат на фоне картины в золотой раме, изображающей Чесменский бой.

«Мне хотелось увидеть ее вот так, неприбранную: в дорожном плаще, после четырех дней тряской дороги...»

Принцесса легкой, летящей походкой стремительно шла сквозь анфиладу дворцовых комнат. И навстречу ей, будто из золотой рамы, из картины Чесменского боя, выдвинулся красавец богатырь в белом камзоле, с голубой Андреевской лентой через плечо, в белом парике...

Поздний вечер в покоях палаццо Нерви. У камина сидели принцесса и Орлов. Разговаривали по-немецки.

— Пришелся ли дворец по сердцу Вашему высочеству?

— Я жила и во дворцах, и в убогих хижинах. И благодарю Господа за всякий кров над головой. Но я ценю, граф, ваши заботы обо мне и о моих людях.

Орлов молча, со странной улыбкой глядел на принцессу.

«Роста она небольшого, и лицо нежное: ни белое, ни черное, глаза огромные, на лице есть веснушки. Телом суха. Да кто же она? Басни про Персию да про Сибирь? Говорит по-немецки, по-итальянски, по-французски. А по-русски — ни звука, принцесса Всероссийская!»

— О чем вы думаете, граф?

— О вас, Ваше высочество... Об удивительной жизни, которую вы мне, рабу своему, поведали.

— И что вы думаете обо мне и о моей жизни?

— Не думаю — гадаю: кто вы, Ваше высочество? Она очаровательно улыбнулась и спросила мягко и нежно:

— Не верите, граф, моему рассказу?

— Смею ли я, жалкий раб, верить или не верить? Сибирь... Персия...

Санкт-Петербург и Багдад... История чудеснейшая.

— Не более, чем ваша, граф, — улыбнулась принцесса. — Вы, вчерашний сержант, и ваш брат, пребывавшие в ничтожестве, в один день становитесь чуть ли не властелинами великой страны? Или отец мой, жалкий полуграмотный сельский певчий, женится на дочери Петра-императора? А сама ваша нынешняя государыня? Нет, нам надо привыкнуть, мы живем в век чудес. Ничтожная немецкая принцесса Софья становится императрицей Екатериной, убив...

Она будто что-то вспомнила и смущенно замолчала.

— Вы хотели сказать, Ваше высочество: убив мужа своего?

Белые от бешенства глаза смотрели на нее в упор.

— Не она, милая, это я убил его. Вот этой рукой задушил... — шептал он, протягивая к ней руку.

Его лицо приблизилось к ней, и она увидела страшный шрам — от рта до уха. Бешеные глаза надвинулись... Они близко, совсем близко... И он поднял ее, как пушинку, на воздух. И она задохнулась в этих стальных руках.

— Не знаю, кто ты, — шептал он по-русски, — но любя ты мне...

И она покорно закрыла глаза.

Была ночь. В покоях палатки Нерви тускло горели свечи. Огромная кровать под балдахином тонула в полутьме. Лицо со шрамом склонилось над принцессой:

— Давно с тобой встречи жду... Знал — меня не минуешь... А как письмо от тебя получил, понял: пришло мое время. Уж один раз на престол возвел. И в другой раз осечки не будет... Грех не рискнуть, ежели ты Елизаветина дочь.

— А ежели нет? — усмехнулась в темноте принцесса.

— А ежели нет... — Он помолчал. Потом прибавил: — Погублю...

Наступило молчание.

— Ну что ж, спасибо за правду, — глухо сказала она. — Как губить будешь?

— А дальше... Увидел тебя, проклятую, и понял: не погубить мне тебя, потому что ты погубила меня. Держись как государыня... Обликом ты государыня. Величавость в тебе. И храбрость: не побоялась в Пизу приехать.

— Это безопасно, граф, — засмеялась она. — Да вы и сами знаете: Пизой владеет брат императрицы австрийской, родственник жениха моего. Не посмеете вы тут ничего... И слуг моих во дворце шестьдесят человек.

— Да, не ошибся... Отважна... И хитра... Рискну с тобой! — И добавил: — Но учти: сначала женюсь на тебе. И не как мой братец Гришка на императрице надумал жениться, когда она повелительницей стала да в три шеи прогнала его. А сейчас женюсь, когда ты — ничто без меня. Ну... пойдешь за меня?

— Не много ли для первого дня, граф? — холодно усмехнулась принцесса. — К тому же у меня есть жених...

И вновь страшные горящие глаза приблизились к ней. И этот ужасный шрам...

— Пойдешь за меня?

— Пойду... ведь сам знаешь, — бессильно ответила она.

Ночь в огромной спальне подходила к концу. В тусклом свете выступали из темноты статуи и картины. Утренний ветер входил в комнаты.

— Уезжайте, я не хочу, чтобы они вас увидели. Принцесса Всероссийская, как жена Цезаря, — вне подозрений.

— Чтобы *он* меня не увидел? — усмехнулся Орлов. — Боишься?

— Я стараюсь не причинять боли людям, которые меня любят.

— Если не хочешь, чтоб я его, как государя императора!..

— Зачем? Никого больше нет... Есть ты.

Он молчал.

— О чем ты сейчас думаешь? — Она гладила его по волосам, она целовала его.

Он все молчал, потом сказал:

— Кто ты? Кто ты? Кто ты? Ты одинаково быстро говоришь по-немецки, по-итальянски...

— Добавь: по-французски, которого ты, к стыду моему, не знаешь. У меня хорошее образование, граф, и были очень дорогие учителя.

— Кто ты? Кто ты? Если любишь меня больше, чем тайну свою...

Она откинула голову. Волосы упали ей на плечи.

— Я Елизавета. Дочь Елизаветы. И запомните это, Ваше сиятельство, если видеть меня еще желаете...

— Я хочу в это поверить, — медленно начал он. — Я слышал, что немец-учитель вывез ее из России вместе с племянниками отца ее Разумовского. Ты не знаешь, случаем, имени этого учителя?

Она только засмеялась.

— Ну, его имя, Ваше высочество? — шептал граф.

— Придет время — скажу.

— Я даже человека своего узнать все подробности в Пруссию к этому учителю недавно посылал. Да помер, оказалось, учитель.

И вдруг, усмехнувшись, она спросила:

— А какого человека вы к нему посылали?

— Верного. И ловкого. Того самого, которого я к тебе посылал. Рибас, испанец... Неужто забыла?

Она засмеялась, радостно, облегченно.

— Вот теперь я тебе верю! Теперь ты мне все сказал! Я ведь сразу почувствовала...

Засмеялся и граф:

— А если он нарочно сделал так, чтобы ты почувствовала? Чтоб я сегодня мог про него рассказать? И до конца в доверие к тебе войти?

— Тогда он был бы дьявол. И ты вместе с ним.

— Все мы бесы, Елизавета. Не верь словам. Ты только рукам да губам ночью верь. Ночью все правда...

Он целовал ее и шептал... И она что-то шептала уже в безумии, как вдруг он расхохотался и вытащил из-под ее подушки пистолет. Она тоже засмеялась. Он отшвырнул пистолет далеко, в угол зала.

— Хоть теперь безоружная...

И, все еще смеясь, повернулся к ней и наткнулся грудью на сталь. Улыбаясь, она смотрела на него, приставив к его груди другой пистолет.

— Стреляй, — шепнул он. — Хочу вот так... с тобой помереть.

— Боже мой, — сказала она. — Я люблю тебя!

Пиза. В театре давали оперу Моцарта «Волшебная флейта».

Граф Орлов в камзоле, сверкающем бриллиантами, и принцесса в нежно-голубом платье и в фантастическом ожерелье из сапфира появляются в ложе.

Весь театр глядел на них. За спиной графа — русские морские офицеры в парадных мундирах.

Погас свет. Началась опера. Но зал не смотрел на сцену...

Принцесса и Орлов в открытой коляске. За коляской следовала другая — с музыкантами, нанятыми графом. И всюду толпа зевак провожает их глазами. Голубое небо, праздничная толпа, солнце и музыка... И прекрасный город...

— Я только думала прежде, что была счастлива, — шепчет принцесса. — Я не знаю, чем все кончится, но всю жизнь буду благодарить тебя. Я познала тебя. Я познала счастье...

Он наклонился к ней и тоже прошептал, как шутливое заклинание:

— Кто ты?

— Я та, которая без памяти любит вас, — в тон шепнула она.

— Дочь ты? Самозванка ли ты? Теперь уже поздно! Весь флот уже о нас знает. Теперь мне идти с тобой до конца. Я муж твой перед Богом, и горько мне не знать, кто жена моя...

Она посмотрела на него:

— И как же вы можете брать меня в жены, если не верите мне?

— Верю... хотя только безумный может верить. После потешных твоих побасенок про Пугачева, твоего брата, о которых Рибас мне докладывал...

— Я говорила то, что надо было говорить, что хотели услышать от меня тогда банкиры. Цель была: чтобы они дали мне деньги на святое дело. И ради этого я выдумывала. Неужели, думаешь, я не знаю, что Пугачев попросту безродный разбойник?

— Я верю тебе, верю, но... — засмеялся он, — но одно имя... хотя бы одно имя из твоего детства... И больше ни о чем не спрошу.

Она усмехнулась, подумала. Потом сказала:

— Иоганна Шмидт, любимая наперсница матери...

— Действительно! — в изумлении прошептал граф.

— Могу еще имя... я помню его с детства. Красавица Лопухина. Мать ненавидела ее за красоту и обвинила в заговоре. Ей вырезали язык на плахе и били плетью. Палач показывал гогочущей толпе ее обнаженное тело. И, протягивая вырезанный язык, кричал: «Кому языки? Языки нынче у нас дешевые!» Когда я вспоминаю это унижение красавицы...

Она остановилась и, усмехнувшись, добавила:

— Кстати, с ней на плахе стояла другая женщина: уж не помню ее имени... тоже знатная и осужденная на те же муки... Но та успела сунуть палачу свой нательный крест, осыпанный бриллиантами. И палач сек ее лишь для вида и даже язык ей оставил. Эта история меня потрясла, и я ее запомнила. Ах, граф, какая у нас удивительная страна — страна, где взятки берут даже на плахе!

— Не поняла ты, — вдруг шепотом сказал граф. — Чтобы понять это, надо там родиться и жить. Когда она нательный крест палачу отдала, она как бы братом его сделала...

— Какие странные брат и сестра — палач и жертва...

— Опять не понимаешь... простила она его. Простить на плахе — ох как это по-нашему!

— Ну, и в заключение, граф, мой подарок: еще одно имя. Я вам прежде сказать обещала — имя учителя, вывезшего из России дочь Елизаветы...

меня вывезшего... Дитцель!

— Вправду Дитцель! — задохнулся граф.

— Но я обещала только одно имя, — рассмеялась она. — А наговорила... Полно, хватит.

— Но подожди, — торопливо продолжал Орлов, — я слышал, что этот Дитцель действительно вывез за границу дочь Елизаветы... Но при дворе говорили: ее зовут Августа?

Она молчала.

— Я слышал: вывезли ее из России вместе с племянником отца ее Разумовского?

Она молча, с улыбкой смотрела на возбужденного графа.

— Дараган была фамилия племянника, — сказал он. — И Дитцель назвал ее за границей Августа Дараганова. Да немцы в Тараканову ее переделали для благозвучия. Августа Тараканова... Но как Августа Тараканова в Елизавету-то превратилась?!

— А... может, тоже для благозвучия? — Она расхохоталась. — Вы совсем извелись вопросами. Вот что значит Фома неверующий. Чтобы вас не мучить, я так закончу наш разговор: скоро вы все поймете!

Я обещаю рассказать вам все, граф, когда ваша эскадра выступит против узурпаторши. Так решили люди, поддерживающие меня...

И она засмеялась и нежно прикоснулась к его лицу.

Коляска ехала по городу, играли музыканты... «Но откуда она про Дитцеля знает? И про Шмидтшу? Ляхи рассказали? Готовили ее? Но времени выяснять уже более нет. В Петербурге, чай, уже... Неделя блаженства закончилась, Ваше сиятельство».

В дворцовом саду адмирал Грейг докладывал Орлову:

— Большой ропот среди моряков, Ваше сиятельство. Дисциплина стремительно падает...

Орлов молча передал Грейгу запечатанный пакет.

— Возвращайтесь на корабль, адмирал. Пакет вскроете на корабле, там мои подробные инструкции. В ближайшее время дисциплина на кораблях не будет внушать опасений...

Грейг откланялся. И тотчас в саду появился Рибас:

— Все ее бумаги в бауле, их охраняет Доманский. Когда он уходит из дома, к баулу приставлен верный слуга, чех Ян Рихтер. Пытаться похитить бумаги бессмысленно.

— И не надо. Думаю, что там ничего нет. Так что... — И Орлов замолчал.

— Да, — вдруг сказал Рибас, — хочешь — не хочешь... — Он вздохнул.

— Дьявол ты, Осип Михайлович, — глухо сказал Орлов. — Ступай...

Орлов медленно шел через анфиладу дворца. Остановился перед зеркалом. Глядел, усмехался на свое отражение:

— Как он сказал? «*Не хочешь...*» Не хочешь... Самозванка она. Это точно. А если б не самозванка была?

Человек в зеркале печально усмехнулся.

— Вот в том-то и дело, — сказал граф отражению. — Только самолюбие свое тешил. А на самом деле конец игре точно знал. Потому как на самом деле — холоп ты, давно холоп!

Она сидела у камина. На столике стоял шандал, сделанный когда-то для нее князем Лимбургом. Шандал был зажжен, и на экране она также сидела у камина. И у ног ее, как на экране, на маленькой скамеечке пристроилась камеристка Франциска фон Мештеде.

Слуга доложил — и быстрыми шагами вошел, почти вбежал Орлов. Он протянул ей бумагу.

— Деша! Из Ливорно! Злая драка в городе! Англичане, союзники наши, и мои моряки сильно пьяные были. Раненые и убитые с обеих сторон... Волнения на кораблях... Хотят жечь английскую эскадру. А у меня в адмиралах англичанин Грейг. Бунт назревает! — Он мерил залу своими огромными шагами. — Я выезжаю в Ливорно. Немедля.

— То есть как? — сказала она капризно. — Значит, вы можете вот так уехать? Оставить меня?

— По-моему, вы забыли, Ваше императорское высочество: кроме любви, нас связало и нечто другое. Я не могу потерять эскадру *накануне...*

— Боже мой, я действительно все забыла!

Она поднялась с кресла и сказала величественно:

— Это знак судьбы. Пора начинать. Я еду с вами в Ливорно.

— Пора начинать, — как эхо, повторил граф. — Но учти: условие будет...

Она сразу стала настороженной.

— Мы повенчаемся в Ливорно, — сказал граф. — И, как положено внучке Петра, венчать нас будет православный священник...

— Православный священник — в Ливорно?

— Есть! У меня на корабле есть, там и повенчаемся. Это будет началом восстания. Сразу после венчания я объявлю флоту свою волю. Твою волю.

Она задумалась, долго глядела на него. Затем сказала:

— Ну что ж... ты прав... Святое дело зовет — и будь что будет!

Поцелуй меня!

Он целовал ее бесконечно, безумно.

— Вот теперь я верю, — сказала она смеясь. — Все будет...

Христенек: Чин майора

На следующий день в покоях принцессы появился Христенек. Он стоял у камина, ожидая выхода принцессы, когда услышал приближающиеся шаги и отрывистый разговор.

— Можно обманывать днем, но не ночью, — говорил голос принцессы.

— И все-таки ты сошла с ума, — отвечал мужской голос:

— Запомни: сошел с ума тот, кто влюблен. А *он* влюблен, и безумно — уж в этом я разбираюсь. Влюбленный — всегда глуп. «На забаву нам и созданы глупцы».

— Но, умоляю, будь осторожна.

— Рискнем... Тем более это наш единственный шанс. Все или ничего! Рихтера оставишь здесь с бумагами. Сами поедете со мной. На худой конец...

Христенек громко кашлянул. Голоса замолкли, и через мгновение в залу торопливо вошла принцесса.

— Что вы тут делаете, милейший?

— Слушаю то, что мне слушать не положено. На вашем месте я рассчитал бы слуг: в дом может войти всякий.

Принцесса молча, пристально смотрела на него.

— Я пришел просить вас об исполнении слова, — усмехнулся Христенек — Вы обещали похлопотать перед графом о *майоре* Христенеке. На корабле готовят свадьбу, это будет самое время для подобной просьбы.

Она молчала.

— Кроме того, — продолжал Христенек, — раньше у вас не было денег, у меня были. Но теперь, к сожалению, наоборот.

Принцесса с облегчением вздохнула, подошла к шкатулке и вынула мешочек с золотом.

— Сдается, что вы большой плут, мой юный друг!

— Это не так плохо, — сказал Христенек, — иметь своего плута при графе. Но это будет стоить хлопот о чине. И денег. Много денег!

— Вы будете майором, — засмеялась принцесса и с торжеством обернулась к Доманскому, стоявшему в дверях...

«Вот теперь ты точно поедешь...» — сказал себе Христенек.

21 февраля 1774 года в Ливорно стоял солнечный ветреный день. В доме Дика, английского консула в Ливорно, собралось блестящее общество.

Двери залы распахнулись. Богатырская фигура Орлова заслонила вход, и он провозгласил:

— Ее императорское высочество Елизавета!

В великолепном туалете, сверкая бриллиантами, подаренными графом, появилась принцесса.

Низко кланяясь, подходили гости к руке принцессы. С благоговением целовали руку.

Граф Орлов представлял ей одного за другим:

— Английский консул в Ливорно и кавалер российского ордена Святой Анны сэр Джон Дик с супругой... Адмирал русского флота Самюэль Грейг...

Грейг в орденах, в парадном мундире почтительно целует руку принцессы.

— Ишь, старая лиса, — шептал принцессе Орлов, — мундир парадный надел. Теперь никуда ему от нас не деться...

Пир в доме Дика в разгаре. В широкие окна гостиной виден залив и корабли русской эскадры на рейде. С кораблей начали палить пушки.

— В честь Вашего императорского высочества! — провозгласил Орлов. — Салют русских моряков наследнице престола!

Гости за столом захлопали. Опыневший Черномский что-то страстно доказывал по-польски Христенеку. Тот, соглашаясь, кивал. Они поцеловались.

И только один Доманский был совершенно трезв и не спускал глаз с принцессы. Но та не смотрела на него. Она жадно глядела на море, где, медленно совершая маневры, двигались русские корабли. И шептала жене консула Дика, с которой уже успела подружиться, шептала так, чтобы граф слышал:

— Да, да, я его люблю. И пусть я много страдала из-за любви, но я благословляю это страдание...

— Возвышенно! — шептала в ответ жена консула. — Ох, глядите: на кораблях опять стреляют. Всю жизнь я мечтаю побывать там, и каждый раз он мне только обещает, — сказала она, кивнув на супруга. — Вы все можете... Попросите графа когда-нибудь... Только мужу ни слова, он ужасно к нему ревнует. — И она указала глазами на Грейга.

— А вы его? — засмеялась принцесса.

Жена консула потупила глаза.

— Как мы все беспомощны перед ними, — сказала принцесса. И вдруг громко обратилась к графу: — У меня есть желание, граф. Я хочу сейчас же

побывать на корабле. Я хочу все увидеть своими глазами.

Наступила тишина. Жена консула захлопала в ладоши. Доманский побледнел.

— Но, Ваше высочество, — начал Орлов, — это невозможно. На кораблях идут маневры. Стреляют пушки, это опасно.

— Я не узнаю вас, граф. Слово «опасно» странно звучит в устах героя, — надменно начала принцесса.

«Ну, все точно! Чтоб ей до смерти захотелось, надо сказать „нет“. Ох и граф!» — усмехнулся Христенек.

— Граф прав, — резко сказал Доманский.

— Клянусь доставить принцессу живой и невредимой на сушу, — сказал дотоле молчавший Грейг.

На лице принцессы промелькнуло сомнение.

— Ты не поедешь на корабль, — торопливо зашептал Орлов, — чтобы ни обещала тебе эта старая лиса! Я тут хозяин... Точнее, поедешь, только с одним условием: венчаться!

— Как... сейчас? — беспомощно спросила принцесса.

— А почему не сейчас? Корабельный священник ждет нас. Сегодня я объявлю свою волю флоту. Твою волю. Иначе не быть тебе на корабле!

Лицо принцессы вновь стало величественным, спокойным. И, с презрительным торжеством взглянув на Доманского, она прошептала графу:

— Что ж, решено!

И, поднявшись из-за стола, сказала, почти приказала:

— Мы все едем на корабль, господа!

— Не забудьте про чин, — прошептал сзади Христенек.

Она засмеялась. Теперь она была совсем спокойна.

Все шумно вставали из-за стола. Доманский растолкал совсем захмелевшего Черномского.

— Мы едем, идиот.

— Куда?

— Вот это я тоже хотел бы знать, — сказал Доманский. И поправил пистолет под кунтушем.

— Как... и вы, господа? — спросил Орлов, с усмешкой глядя на поляков.

— И мы, — ответил Доманский.

— Тогда... — Орлов приказал Христенеку, — две шлюпки к набережной. — И, повернувшись к Грейгу, объявил: — Поднять флаг на

адмиральском корабле. И чтоб все офицеры были в парадных мундирах. Ее императорское высочество к рабам своим ехать изволят...

Шлюпки приближались к адмиральскому кораблю. Матросы выстроились на палубе.

— Ура! — разносилось в воздухе.

— По-царски встречают внучку Петра, основателя флота Российского, — шептал Орлов. Глаза его стали безумными. — Ох, если бы ты знала, что я сейчас чувствую...

И он сжал ее, будто загораживая своим телом от высокой волны.

Орлов, принцесса и адмирал Грейг идут по палубе вдоль фронта почетного караула. И опять гремит «ура!»...

Орлов и принцесса стоят на корме. Вокруг толпятся офицеры.

— Наполнить кубки, господа... Граф Алексей Григорьевич любовь свою поминает, — обратился по-русски Орлов к офицерам.

— Что ты сказал? — спросила по-немецки принцесса.

— Любовь! — перевел ей Орлов. — Любовь, будь она проклята! — И, усмехнувшись, добавил: — За священником иду, сударушка!

— Сударушка... — повторила она нежно.

И смеясь, и посылая ей воздушные поцелуи, и все глядя на нее, будто не мог наглядеться, Орлов уходил от нее.

Она улыбалась. И глядела в море.

Христенек смотрел, как медленно уходил граф и как глядела в море принцесса...

«Счастлива...»

— Ваши шпаги, господа, — раздался голос сзади.

Не понимая, она повернулась на голос и увидела, как в толпе офицеров Доманский пытался выхватить пистолет и как Черномский нелепо тащил из ножен свою огромную саблю. Матросы уже висели у них на руках...

«Пора...» — подумал Христенек.

— Что вы делаете, господа? — закричал он и будто попытался вырвать свою шпагу из ножен, и тоже был обезоружен.

И уже Доманский, с усмешкой глядя на принцессу, отдавал свой пистолет.

— Что происходит, господа? — почти беззвучно спросила принцесса.

Морской офицер, стоявший за ней, отрапортовал по-французски:

— По именному указу Ее императорского величества императрицы Екатерины Второй вы арестованы.

— Кто вы такой? — Она еще пыталась быть надменной.
— Капитан Литвинов, прибывший вас арестовать, — ответил офицер.
— Немедленно позовите Его сиятельство! — крикнула принцесса.
— По приказу командира корабля «Три иерарха» адмирала Грейга граф Орлов арестован как изменник государыни.

Принцесса лишилась чувств. Матросы бросились к ней. Ее унесли в каюту.

На палубе появился Грейг.

— Этих господ — в отдельную каюту! — Грейг указал Литвинову на поляков. — И караул приставить.

Доманского и Черномского увели.

И тотчас матросы отпустили Христенека.

— Что с ней? — спросил его Грейг.

— Да ничего — игра одна: глаза прикрыла, соображает, что дальше делать, — сказал Христенек — Глаз с нее не спускать... нрава она отчаянного.

— И закрыть проход в эту часть палубы. Караул при арестованных круглосуточно! — отдавал распоряжения Грейг. — Чтоб птица не пролетела!

В палаццо принцессы в Пизе в большой зале столпились слуги.

Христенек стоял у мраморного столика и с шутками и прибаутками выдавал деньги.

— А ну-ка, господа хорошие: служить — не тужить... Всех вас принцесса велела рассчитать по-царски.

В залу вошел Ян Рихтер.

— А ты мне и надобен, — ухмыльнулся Христенек. — Зови камер-фрау, собирайте вещи, на корабль велено доставить.

— У меня есть приказание: вещи принцессы я могу отдать только в собственные ее руки, — мрачно ответил слуга.

— И правильно, — весело нашелся Христенек — Тебя, дружок, не велено рассчитывать. Тебя да камер-фрау принцесса при себе оставляет. И велено вас доставить со всеми ее вещами на корабль, где нынче Ее императорское высочество с женихом своим графом Алексеем Григорьевичем и приближенными Доманским и Черномским — известны тебе такие имена? — готовятся отплыть из Ливорно в Турцию. А ну-ка, мрачный человек, собирай свою команду, да поживее. Принцесса передать велела: головой отвечаешь за сохранность вещей. Особенно береги баул! Веселее, господа хорошие. Эх, где ни жить — всюду служить!

Рихтер почесал затылок и молча пошел прочь из залы собирать вещи. Христенек вздохнул с облегчением.

Экипаж, груженный вещами принцессы, подъехал к набережной. По-прежнему на набережной толпились люди. И красавцы фрегаты продолжали свои учения в заходящем солнце...

Из экипажа высаживается Христенек, за ним Рихтер, не выпускающий из рук знакомый баул, и камеристка принцессы Франциска фон Мештеде.

У набережной их ждала шлюпка с матросами.

— А ну, родимые, помогайте гостям нашим вещички таскать! — кричит Христенек матросам.

Сгибаясь под тяжестью, матросы тащат в шлюпки огромные сундуки.

Рихтер стоит у шлюпки со своим баулом и с сомнением наблюдает всю эту картину.

— А откуда я узнаю, господин, что моя хозяйка на корабле? — вдруг спрашивает он.

— Ну что ж ты такой неверующий? — хохочет Христенек и обращается к толпе на набережной: — Эй, любезнейшие, что здесь происходит?

— Маневры в честь Ее высочества русской принцессы, — с готовностью отвечают из толпы.

— А где ж сама принцесса?

— На корабле, — словоохотливо начинают объяснять зеваки, — со свитой — на трех экипажах приехали... все с усищами, с саблями огромными...

Три коляски, украшенные гербами графа Орлова, стояли на набережной.

Рихтер вздохнул и пошел садиться в шлюпку.

Шлюпки отчалили от набережной.

В каюте адмиральского корабля стоят раскрытые сундуки. По всей каюте разбросаны платья, шляпы, мантильи, амазонки. На отдельном столике — маленький баул, прежде находившийся у Рихтера. Около баула дежурит матрос...

Посреди этого моря женских туалетов за другим столиком сидит писарь. Перед ним зажжен тот самый шандал с экраном, где изображена гадающая принцесса.

— Опись вещам... — монотонно диктует Христенек.

Подлинная опись вещей принцессы, захваченных в Ливорно. По ней

можно представить себе гардероб блестящей женщины галантного века, имевшей склонность к путешествиям.

— «Тафтяное платье полосатое... Палевые, с флеровой белою выкладкой, гарнитуровые черные, с такой же выкладкой робронды и юпки попарно... Кофточки и юпки попарно... Тафтяное розовое, с белой флеровой выкладкой... Юпки атласные...»

В каюту вошел Орлов...

Орлов: Последние письма

Орлов, усмехаясь, оглядел каюту.

— Письмо, Ваше сиятельство... от нее для вас, — сказал Христенек — Адмирал Грейг принес.

Орлов взял письмо, а Христенек продолжал рыться в вещах принцессы и диктовать:

— «Польские кафтаны — атласный, полосатый... Салоп атласный голубой... Четыре белых кисейных одеяла...»

Орлов смотрел на бумагу, исписанную торопливым почерком. Иные буквы расплылись — слезы ярости... Он читал письмо и одновременно слушал монотонный голос Христенека, перечислявший все эти модные вещи. Она вновь была перед ним. И он слышал ее голос...

«Вы, так часто уверявший меня в верности, где же вы были, когда меня арестовали?»

— «Кушак с золотыми кистями... Амазонские кафтаны... Камзолы с серебряными кистями и пуговицами... Две круглые шляпы, из коих одна белая с черными полями, а другая черная с белыми... Одна простыня и наволочки к ней полотняные... Одна скатерть...»

«...Не верю, не верю, вы не смогли бы так поступить! Но если даже все это правда, заклинаю вас всеми святыми: придите ко мне!»

— «Осьмнадцать пар шелковых чулок... Десять пар башмаков шелковых надеванных... Семь пар шитых золотом и серебром не в деле башмаков...»

«...Я готова на все, что вы для меня приготовили. И на то, что вы отняли у меня навсегда свободу и счастье. И на то, что вы вдруг передумаете и освободите меня из ужасного плена, но что бы вы ни решили — придите!»

— «Лент разного цвета... 12 пар лайковых перчаток... Веер бумажный и веер шелковый... Три плана о победах Российского флота над турецким... На медной доске величиною с четверть аршина Спасителей образ... Книги — 16 — иностранные и лексиконы... Три камышовые тросточки — две тоненькие, одна с позолоченной оправой... Семь пар пистолетов, в том числе одни маленькие...»

Орлов подошел, поиграл пистолетами, кивнул на баул:

— Бумаги?

— Точно так, Ваше сиятельство, как вы повелели: никто не прикасался, — ответил Христенек. — И караул к ним сразу приставил.

— Ко мне в каюту! — приказал Орлов матросу.

Матрос поднял баул и вышел.

— Ее люди, которые вещи доставили?..

— Сидят под стражей, — отвечал Христенек.

— Всех арестованных по разным кораблям развести. На адмиральском только ее оставить с камер-фрау. В каюту ей все вещи отнести. — Он огляделся и усмехнулся. — Да, одежды у нее предостаточно. Но в Петербурге ей совсем другая понадобится. Купишь салоп на меху на куньем — и пускай адмирал отдаст от меня. Ты свое дело заканчивай. Завтра письмо от меня в Петербург повезешь императрице вместе с бумагами разбойницы. С Рибасом поедете.

Орлов сидел в своей каюте, лихорадочно перебирал бумаги принцессы. Весь стол был завален этими бумагами.

— Кому только не писала... Да, свойства имеет отважные. Султану... Королю шведскому, королю прусскому, — перебирал он письма. — А это уже к ней... Вся Конфедерация здесь. Огинский, Радзивилл... А это вы, Ваше сиятельство...

Усмехнувшись, он сжег свои письма над свечой. И вновь погрузился в ее бумаги... Наконец он закончил разбирать таинственный баул. Но того, что искал, не было: никаких бумаг о ее рождении.

Он прошелся по каюте.

— Ну что ж: прав, Ваше сиятельство, ничего у нее нет, одна пыль в глаза... Копии кем-то составленных завещаний русских царей. Кем? Все теми же ляхами? Самозванка! Не ошибся, граф.

В каюту вошел Грейг.

— Я сейчас отпишу ей ответ на письмо, а вы передадите.

Грейг помолчал, потом тихо сказал:

— Увольте, Ваше сиятельство.

— Я дважды не прошу, адмирал. Сами передадите и в высшей степени любезно. И романы в каюту ей доставите. Читать она охоча, а дорога-то дальняя. Я ее, слава Богу, знаю... Ей удавиться ничего не стоит. А ее живую надо государыне привезти. Многие тайны знает эта женщина.

— Но откуда здесь романы, Ваше сиятельство? У нас на все корабли одна книга. И та — «Устав морской службы».

— К Дику пошлешь, у этой английской скотины все есть.

Орлов начал писать письмо, а Грейг закурил свою трубку и молча

ждал, пока граф закончит.

Из письма графа Орлова, написанного по-немецки на корабле:

«Ах, вот где мы не чаяли беды... При всем том будем терпеливы. Я нахожусь в тех же обстоятельствах, что и Вы, но надеюсь получить свободу через дружбу своих офицеров. Всемогуший не оставит нас. Надеюсь, что адмирал Грейг из приязни ко мне даст возможность бежать. Он окажет и Вам всевозможные услуги, прошу только первое время не испытывать его верности. Учтите, он будет очень осторожен. Наконец остается мне просить Вас только об одном: заботиться о своем здоровье. Как только я получу свободу, буду разыскивать Вас по всему свету и служить Вам. Вы только должны заботиться о себе, о чем я Вас прошу всем сердцем. Ваши собственные строчки я получил из рук адмирала и читал их со слезами на глазах. Неужели Вы желаете обвинить меня?! Берегите себя. Не могу быть уверен, что Вы получите сие письмо, но надеюсь, что адмирал будет настолько вежлив и благороден, что передаст его Вам. Целую от всего сердца Ваши ручки».

Граф подумал — и подписи не поставил.

Грейг хмуро взял письмо.

— Как только я покину корабль, снимитесь с якорей. Пока не просочились слухи на берег... Представляете, что будет со всей этой толпой? Они тут как порох!

Грейг молчал.

— В порты постарайтесь заходить пореже. Через английского консула я уже отправил послание: в Портсмуте вы будете снабжены всем необходимым. Там и сделаете остановку, там и команда отдохнет. После чего, стараясь избегать новых остановок, двинетесь прямо в Кронштадт... И поспешайте, поспешайте, адмирал!

— У меня была нелегкая жизнь, граф, — усмехнулся Грейг, — но никогда я не выполнял более трудной миссии.

Корабли снимались с якорей в заходящем солнце.

Дворец Орлова в Пизе.

Стояла глубокая ночь. В своем кабинете граф принимал Рибаса и Христенека.

Христенек докладывал:

— Корабли благополучно ушли, Ваше сиятельство. Эскадра находится в открытом море.

— Говорят, толпа на набережной в Ливорно по-прежнему не расходится, — усмехнулся граф.

— О сем гонец из Ливорно ничего не поведал... — начал Христенек.

Но Рибас, тут же сообразивший в чем дело, перебил его:

— Так точно, Ваше сиятельство. Есть сведения: большое недовольство в городе. Итальянцы как дети. Уж очень полюбилась им таинственная принцесса.

— Полюбилась злодейка, — поправил Орлов и продолжал: — Усилить караулы вокруг дворца! Я жду больших волнений, господа. Тем более что вокруг нее было много отцов иезуитов, а сии... — Он помолчал. — Итак, я отправляю вас обоих в Петербург. — Он обратился к Христенеку: — Ты повезешь письмо государыне. А Рибас будет отвечать за бумаги разбойницы. Вы должны прибыть в Петербург как можно скорее, чтоб следствие основательно подготовилось к приезду разбойницы и еще чтоб государыня знала, в каком бедственном положении я тут пребываю. Расскажите подробно, каким опасностям я тут теперь подвергаюсь. Думаю, что оставаться мне сейчас в Италии никак невозможно.

«Итак, Его сиятельство решил при помощи сего дельца в Петербург пожаловать. И роскошное свое изгнание прекратить...» — улыбнулся про себя Рибас.

— Выспитесь хорошенько, господа, и наутро в путь! Рибас и Христенек ушли. Граф остался один. И начал писать письмо императрице.

Письмо графа Орлова Екатерине Второй. Февраля 14 дня 1775 года. Из Пизы. «Угодно было Вашему императорскому величеству повелеть доставить называемую принцессу Елизавету. И я со всею моею рабской должностью, чтоб повеление исполнить, употребил все возможные мои силы и старания. И счастливым теперь сделался, что мог я оную злодейку захватить со всею ее свитою... И теперь они все содержатся под арестом и рассажены на разных кораблях. Захвачена она сама, камердинерша ее, два дворянина польские и слуги, имена которых осмеливаюсь здесь приложить. А для оного дела употреблен был штата моего генеральс-адъютант Иван Христенек, которого с оным донесением посылаю и осмелюсь его рекомендовать яко верного раба и уверить, что поступал он со всевозможной точностью по моим повелениям и умел весьма удачно свою роль сыграть».

Орлов походил по комнате. Оставалось главное.

«...Признаюсь, Всемилостливейшая государыня, что теперь я, находясь вне отечества, в здешних местах сильно опасаться должен, чтоб

не быть от сообщников сей злодейки застреляну иль окормлену ядом... И посему прошу не пречесть мне в вину, если я по обстоятельству сему принужден буду для спасения моей жизни, команду оставя, уехать в Россию и упасть к священным стопам Вашего императорского величества».

Он еще походил по комнате.

«...Я сам привез ее на корабли на своей шлюпке вместе с ее кавалерами. В услужении у нее оставлена одна девка, камер-фрау. Все же письма и бумаги, которые у нее захвачены, на рассмотрение Вашего величества посылаю с надписанием номеров. Женщина она росту небольшого, тела очень сухого...»

Он опять видел ее лицо. И тем последним, страшным, сводящим с ума движением она припала к нему...

«...Глаза имеет большие, открытые, косы, брови темнорусые. Говорит хорошо по-французски, немецки, немного по-итальянски, хорошо понимает по-аглицки и говорит, что арабским и персидским языками владеет. От нее самой слышал, что воспитана в Персии, а из России увезена в детстве. В одно время была окормлена ядом, но ей помощь сделали. Когда из Персии в Европу ехала — была в Петербурге, в Кенигсберге, Риге, а в Потсдаме говорила с королем прусским, сказавшись ему, кто она такова. Знакома очень со многими князьями имперскими, особливо с князем лимбургским. Венский двор в союзниках имеет и всей Конфедерации польской хорошо известна. Сама открылась мне, что намерена была ехать прямо к султану отсель. Собственного ж моего заключения об ней донести никак не могу, потому что *не смог узнать в точности, кто же она в действительности*. Свойства она имеет довольно отважные и своею смелостью много хвалится, этим-то самым мне и удалось завести ее, куда желал».

Граф еще походил по зале. Дальше начиналось самое сложное... Он писал, рвал бумагу и опять писал.

«... Она ж ко мне казалась благосклонною, для чего и я старался казаться перед нею весьма страстен. Наконец уверил я ее, что с охотою женился б на ней, чему она, обольстясь, поверила. Признаюсь, что оное исполнил бы, чтоб только достичь того, чтоб волю Вашего величества исполнить. Я почитаю за обязанность все Вам донести, как перед Богом. И мыслей моих не таить... А она уж из Пизы расписала во многие места страны о моей к ней преданности. И я принужден был ее подарить своим портретом, каковой она при себе и имеет, и если захотят в России ко мне не доброхотствовать, то могут придраться к сему, коли захотят. При сем прилагаю полученное мною от нее письмо уже из-под аресту, а она и по се время верит, что не я ее арестовывал. Тож у нее есть письмо моей руки на

немецком языке, только без подписывания моего имени: что-де постараюсь уйти из-под караула и спасти ее... Прошу не взыскать, что я вчерне мое донесение к Вашему императорскому величеству посылаю. Ибо опасаясь, чтобы враги не проведали и не захватили курьера моего с бумагами. Посему двух курьеров посылаю. И обоим письма черновые к Вашему величеству вручу...»

Он опустил голову на руки и долго молча сидел, потом встал и подошел к зеркалу. На каминной доске стоял тот самый шандал с экраном, на котором была изображена принцесса. Рядом с шандалом — высокий бронзовый канделябр.

— Холоп. — Он подмигнул себе в зеркало. И расхохотался.

Потом поднял канделябр и швырнул в зеркало — в свое отражение.

В ту ночь во дворце слуги не спали. Они попрятались в дальних покоях и со страхом слушали, как буйствовал граф до утра в своем кабинете.

Франциска фон Мештеде: Призрак свободы

Франциска фон Мештеде сидела у занавешенного окна и смотрела, как принцесса в бешенстве разгуливала по каюте.

У принцессы начался приступ кашля. Кашель раздирал ее... Наконец, совладав с кашлем, принцесса уселась за столик. Попыталась читать, но отбросила книгу. И вновь заходила по каюте. Франциска с испугом следила за госпожой.

«Она наняла меня в Оберштейне. Она была очень щедрая госпожа, и я с охотой выполняла свои обязанности: одевала ее, раздевала, приносила еду и питье. Но она редко со мной разговаривала. И я удивилась, когда она сама вдруг обратилась ко мне...»

— По-моему, мы стоим на месте? — сказала принцесса.

— Да, госпожа.

— Значит, мы прибыли в порт, это ясно. Постарайся узнать, где мы...

Франциска попыталась отворить дверь, но тщетно: с другой стороны дверь была заперта на засов.

Принцесса вскочила со стула, взяла книгу и швырнула ее в дверь каюты. Она швыряла книгу за книгой и кричала по-французски:

— Где адмирал? Скоты! Свиньи! Позовите адмирала!

Дверь каюты распахнулась, и вошел Грейг.

— Чем могу служить?

— Где мы находимся?

— В Плимуте, сударыня.

— Так! Значит, это последняя остановка?

Грейг молчал.

— Значит, граф не появится, значит, вы оба дурачили меня? Заберите его проклятые книги! Я ненавижу этого подлого предателя!

Грейг молча выслушивал крики принцессы. Задышавшись от кашля, она продолжала кричать:

— Почему мне не разрешают выходить на палубу? Если в вас осталась хоть капля человеческого... Дайте мне подышать! Я погибаю от кашля, мне нужен глоток воздуха, сударь... Или это тоже распоряжение графа?

Грейг вздохнул:

— Клянусь, я вас выпущу на палубу, как только мы выйдем из Плимута. К сожалению, весть о вашем плене каким-то путем достигла

Лондона. И множество любопытных на лодках плавают совсем рядом с кораблем. Я хочу, чтобы вы поняли мои побуждения. Я не могу вас выпустить сейчас. Мой совет: не казните себя, сделать все равно ничего нельзя. Читайте. Отдыхайте. И надейтесь на судьбу: русская императрица милостива.

Он вышел из каюты. Раздался стук засова.

— Браво! — Глаза принцессы загорелись. — Там друзья мои! Нас не оставили. — И она обратилась к Франциске, молча сидевшей у занавешенного окна: — Все сейчас зависит от тебя. Это последняя остановка. Дальше они повезут нас в Россию. Слушай внимательно. Сейчас ты закричишь: «Принцесса умирает». Бей в дверь, вопи, пока не откроют.

А потом тащи меня на палубу. Тащи, несмотря ни на что. Вытащишь, кричи, чтоб бежали за лекарем. Сделаешь все точно — будем свободны. Учти, Франциска, твоя свобода, моя свобода сейчас зависят от тебя. Ты все поняла?

— Я все поняла, госпожа! — Франциска вскочила со стула и бросилась к двери.

Как только принцесса улеглась на полу и закрыла глаза, Франциска начала безостановочно стучать в дверь и кричать:

— Умирает! Умирает! — Кричала она по-французски и по-немецки. И кулаками била в дверь.

Наконец дверь раскрылась, и испуганное лицо матроса возникло в проеме.

— Умирает! — кричала Франциска и тащила принцессу за руки на палубу.

— Не положено, — отбивался испуганный матросик.

Но вид лежащей запертой женщины произвел впечатление. Он помог Франциске вытащить принцессу на палубу.

— За лекарем беги, за лекарем, — кричала Франциска по-немецки, пытаясь объяснить знаками матросу, что делать. Матрос понял и уже хотел бежать. Но принцесса не выдержала. Она вскочила и бросилась к борту.

Она была уже у борта, она видела лодки на воде, размахивающих руками людей в лодках, когда верткий матросик настиг ее у борта.

— Не положено, барыня, — умоляюще просил он, держа принцессу — Не положено, барыня...

Люди в лодках что-то кричали...

В каюте она упала на кровать и зарыдала впервые по-настоящему — страшно и беспомощно.

Корабли уходили из Плимута.

Тюрьма в галантном веке

*В наше время, мой
друг, в тюрьме
встречаются и очень
приличные люди...*

*Бюси де Рабутен.
Письма*

Весной 1775 года императрица находилась во дворце в Коломенском. Шла подготовка к великим торжествам по случаю празднования Кючук-Кайнарджийского мира с Турцией.

В кабинете императрицы Рибас и Христенек увидели идиллическую картину: Екатерина кормила сухарями и сладостями семейство левреток. На столе лежал том ее любимого Вольтера. В распахнутое окно было видно, как по реке медленно плывет лодка. Звонили колокола...

Рибас и Христенек с умилением лицезрели кормление собачек.

— Вы тоже принимали участие в поимке самозванки, господин Рибас? — продолжая кормить левреток, спросила Екатерина.

— Самое незначительное, Ваше величество. Все совершил господин Христенек, как о сем справедливо написал Его сиятельство.

Наконец прожорливые маленькие собачки насытились, и императрица углубилась в письмо Орлова.

«Бедный граф все описывал нам свое коварство по отношению к злодейке, чтобы еще и еще отводить от себя всякие возможные подозрения: де ничего у него с разбойницей не было — ни любви, ни какого дальнего расчета. Одно только усердие к исполнению нашей воли... Но, к его несчастью, нам слишком хорошо знаком характер сего человека со шрамом. Особенно трогательно звучало его заявление, как он боится мести жалких горожан...»

Екатерина оторвала глаза от письма. И взглянула на обоих посланцев.

— Уж очень опаслив стал граф Алексей Григорьевич, совсем на себя непохож. И яда боится, и пули.

— Сильные волнения в Ливорно, Ваше императорское величество, — невозмутимо ответил Рибас.

— А вы что нам скажете о сем предмете? — Она устремила взгляд на Христенека.

— Именно так, — усмехнулся Христенек, показывая сей усмешкой, что Рибас лжет.

— Как по-вашему, господин Рибас, — продолжала Екатерина, — почему граф не исполнил нашего предписания: не потребовал немедля выдачи самозванки у сенатора рагузского?

— Со всей рабской верностью могу сказать, матушка государыня: не было у него такой возможности. Уплыла она из Рагузы, когда письмо от Вашего величества он получил. Но, не щадя ни живота, ни доброго имени, действовал Его сиятельство, чтоб всклепавшую на себя чужое имя захватить и в Россию доставить. Только об этом и мыслил.

И опять Христенек улыбнулся и показал императрице, что Рибас лжет.

— Отпусти их, матушка, не мучай.

Через потайную дверь в стене в кабинете появился сам фаворит. Екатерина улыбнулась Потемкину и благосклонно обратилась к посланцам:

— Идите с Богом... Отдыхайте после дороги...

— Изменник Алешка, — сказал Потемкин, когда они остались одни, — и весь их корень проклятый лгущий. А как понял, что не получится... что она самозванка всего лишь, только тогда предать ее тебе решился. Но подло — любовью сначала натешился. А потом, как последнюю девку...

— Она и есть последняя девка, беспутная да наглая, — ласково прервала Екатерина. — А граф есть человек, нам преданный. Опять ты позабыл мою просьбу. Главную. Никогда ни в чем не стараться вредить Орловым в моих мыслях. Они мне друзья, и я с ними не расстанусь. Это я сказала тебе, когда ты в мои покои в первый раз вошел, и сейчас повторяю. Умен будешь — нравоучение примешь.

— И ты позволишь ему то, ради чего он все это придумал? В Петербург пожаловать? С Гришкой опять соединиться да со всей проклятой семейкой?

— К сожалению, нынче у нас нет возможности разрешить графу покинуть Ливорно.

Потемкин усмехнулся, но улыбка тотчас исчезла, ибо Екатерина продолжила:

— Но в дальнейшем... в самом скором времени, когда начнутся торжества по поводу мира с турками, я буду ждать его в России. Я надеюсь отметить по заслугам подвиги графа в войне. Я даже составила список. — И она подняла со стола бумагу и стала медленно читать, глядя на

Потемкина: — «В день торжеств граф получит прозвание Чесменского, серебряный сервиз, 60 тысяч рублей, в Царском Селе в его честь мы воздвигнем памятник из цельного мрамора, а на седьмой версте от Санкт-Петербурга в память чесменской его победы — церковь Иоанна Предтечи и дворец в азиатском вкусе... Ибо много ковал он нашу победу. Да к тому ж, не жалея своего честного имени, с врагом нашим, Пугачевым в юбке боролся...» У тебя нет возражений, Ваше сиятельство?

— Нет, — яростно ответил Потемкин.

И только тогда она усмехнулась благодетельной своей улыбкой и добавила:

— Жаль, что после торжеств драгоценное здоровье графа не позволит ему более находиться на нашей службе и оставаться в Санкт-Петербурге.

Потемкин улыбнулся.

— Помни, мой друг, правило: хвалить надо громко, а ругать тихо.

— А этот Христенек... который всю правду открыл... — начал Потемкин. — Человек он верный...

— Мой друг, слуга, рассказавший правду про своего господина, не именуется верным. Именуется доносчиком, да к тому же еще дураком. Ибо говорил он тебе ту правду, которую его государыня услышать совсем не хотела... А доносчик да дурак именуется словом «опасный». Так что отправь его назад к графу в Ливорно с моим письмом. Я постараюсь, чтобы граф о нем... позаботился. А вот второго... Как его зовут?

— Рибас, Ваше величество, — произнес неслышно появившийся в комнате князь Вяземский.

— Вот тебе я его и рекомендую, голубчик, — ласково улыбнулась Екатерина фавориту.

Потемкин удалился так же внезапно и незаметно, как вошел: доверенные люди в этом кабинете не появлялись, а возникали.

— Я отдал необходимые распоряжения, матушка, — сказал Вяземский. — Кронштадт готов к встрече эскадры. Следствие по делу женщины я думаю поручить Александру Михайловичу Голицыну. Он человек, может, и не блестящий, да исполнительный.

— Ох, от блестящих мы с тобой, Александр Алексеевич, много натерпелись. Так что запиши: «Рибас. Определить в Кадетский корпус и поручить воспитание Алексея Бобринского, ибо к деликатным делам большие способности имеет».

Граф Алексей Бобринский — незаконный сын императрицы от Григория Орлова. В это время графу было тринадцать лет.

— А теперь проси князя Александра Михайловича.

В кабинет вошел князь Александр Михайлович Голицын, генерал-губернатор Санкт-Петербурга.

Екатерина указала на баул принцессы, стоявший поодаль на мраморном столике.

— Здесь бумаги всклепавшей на себя чужое имя, захваченные благодаря неусыпным стараниям и отваге графа Алексея Григорьевича. Добросовестно изучи их, князь.

— Все как велишь, матушка, рабу своему, — поклонился князь.

— Имя графа часто будет мелькать в речах этой беспутной женщины. Так что с выбором записывай. Ибо все, что делал граф, он делал по нашему повелению, и непосвященным сие понять трудно...

И снова князь молча поклонился.

— С нею в стоворе находились поляки конфедератские, — продолжала Екатерина. — Радзивилл — князь, Огинский-гетман. Сие нам хорошо известно. Но тебе должно быть также известно, что князь Радзивилл и Огинский-гетман примирились нынче с нашим другом польским королем. И по последним нашим сведениям и к радости нашей, князь Карл явился из Венеции с повинной в Польшу, и поместья ему вернули. И про венецианское удалство его с радостью забыли. И вспоминать более не желаем. Так что поляков, с ней задержанных, допрашивай без рвения. Но главное... главное, князь, это выяснить: *кто она?* Была ли с кем в России связана? Все донесения о том, что расскажет на следствии известная женщина, немедля направить с нарочным к нам в Москву.

Екатерина осталась одна в кабинете.

«Мы придаем этому делу особое значение, как и всему, что касается монаршей власти. Идея самодержавия Божьей милостью есть величайшая идея нашего времени, нуждающаяся в постоянном бережении. Весь мир, все, что окружает нас сегодня, должно служить этой идее. И в том числе я сама. Что такое костюм государя? Это золото, драгоценности? Что наши дворцы? Блеск мундиров гвардии, картины из жизни богов и героев, золотые ливреи слуг, тысячи зеркал и свечей? Все это служит сей идее. Все это говорит: здесь, рядом с вами — Олимп, обители богов. Наше искусство должно быть светлым, возвышенным. Ибо люди должны радоваться, что совсем рядом с ними живут боги. И хотя я сама так устаю от этого блеска, но, Божьей милостью императрица, охраняющая идею, я должна заботиться о ней. Да, в тягость — убирать волосы, одеваться в присутствии множества посторонних мужчин, но что делать? Я каждый день обязана дарить подданным эту выставку богоподобия. Да, мне куда

милее отдаваться втайне прихотям своего сердца, но я не могу лишать подданных радости узнавать об этом. Все, что касается особы монарха, прекрасно и священно. Ибо все, к чему прикасается монарх, немедля становится милостью Божьей. И его фавориты тоже. И, как Божьи дела, они не могут быть ни предметом зависти, ни обсуждения, но только восхищения. Ибо другая высшая цель — верноподданничество. Верноподданничество — вот похвала и добродетель гражданина! Вот почему всякое присвоение царского имени есть величайшее преступление против главной идеи времени».

Пожелтевшие листы следственного дела в Центральном архиве древних актов...

Все ее бумаги, которые только что держала в руках императрица, все письма, которые возила с собой по свету эта женщина, все слова этой женщины во время допросов, ее насмешки, слезы, страдания навсегда успокоились вот в этой безликой папке. И там звучит ее таинственный голос...

На казенном столе, под казенной современной лампой я касаюсь тех же страниц, которых касалась ее рука. О, эти руки, тщетно тянущиеся через столетия!

...Моя рука листает страницы следственного дела.

И рука князя Голицына держит те же документы. Князь задумался, князь в размышлении...

Голицын. Следствие: «Кто она?»

«26 мая 1775 года утром я приехал в Петропавловскую крепость. Я решил начать с допросов поляков, а к ней в камеру пойти под вечер, в семь часов пополудни».

Князь Александр Михайлович Голицын, сын знаменитого петровского полководца, отнюдь не прославился на военном поприще по примеру отца своего. В Семилетнюю войну из-за него чуть была не проиграна знаменитая Кунерсдорфская битва. Но он получил за участие в деле чин генерал-аншефа. В турецкую войну князь тоже не блистал подвигами, но получил чин фельдмаршала. Ибо у него был другой талант — исполнительность. И в дворцовых интригах участия не принимал, что было редкостью. И, что совсем уж было редкостью, — честен был... Екатерина назначила этого неудавшегося воина, но доброго и верного человека петербургским генерал-губернатором.

В камере Черномского.

Князь Голицын допрашивал Черномского.

За отдельным столиком в углу записывал показания секретарь Ушаков, безмолвный, серенький человечек, из тех, что в просторечии именуются «приказная крыса» — особая порода служащих, выведенная в империи.

Голицын обращался к Черномскому:

— Обстоятельства вашей жизни, сударь, хорошо изучены нами по документам, находившимся в архиве известной вам женщины. Следственно, всякая ложь с вашей стороны бесполезна и приведет лишь к тому, что нами будут употреблены все... я подчеркиваю, все средства для узнавания самых сокровенных ваших тайн. А посему предлагаю вам говорить с полной откровенностью, надеясь на безграничную монаршую милость Ее величества... Итак, каковы обстоятельства, приведшие вас к знакомству с самозванкой?

Черномский отвечал весьма охотно:

— В 1772 году я был послан Конфедерацией в Турцию, в лагерь войск, сражавшихся с Россией. Цель моей поездки состояла в том, чтобы разведать, какую помощь мы можем получить из Турции. Из Константинополя я привез графу Потоцкому ответ от Великого визиря и затем поступил на службу к князю Радзивиллу, бывшему, как вам известно, маршалом Конфедерации.

«Про Конфедерацию матушка не велела...»

И князь прервал Черномского:

— Как вы оказались в свите известной женщины? Отвечайте точно на поставленный вопрос.

— Я одолжил ей денег. Она обещала заплатить свой долг в Риме... Кроме того, Доманский был мой хороший товарищ, и я поддался его уговорам поехать с ним и с этой женщиной. Да и пострадав своим карманом, я не мог бросить ее, не получив обратно деньги.

— Называла ли себя негодница в вашем присутствии царским именем? И именовали ли вы ее так?

— Да, все ее так именовали. Князь Карл Радзивилл, когда сел в Венеции на корабль, чтоб ехать с нею к султану, так прямо и объявил нам: дескать, с нами отправляется к султану дочь покойной русской императрицы. Князь Карл иначе не называл ее.

— Я не спрашиваю вас о князе Карле, — торопливо прервал Голицын, — я об ней самой спрашиваю. Именовала ли она себя царским именем в вашем присутствии?

— Да, она так себя называла. И все в Риме ее так называли. И секретарь кардинала Альбани, и французский консул, и посланники всех дворов. Я сколько раз передавал ей письма с надписью: «Ее высочеству принцессе Елизавете».

— Куда вы собирались двинуться дальше из Рима? Говорила ли она вам о своих дальнейших целях?

— Из Рима мы хотели вернуться с Доманским в Польшу. И оттого в Риме много раз просили ее побыстрее вернуть нам деньги и уволить со службы. Но она нам вскоре сказала: «Радуйтесь, у меня теперь будет новая жизнь — граф Орлов обещал мне помогать во всем. Я еду теперь к нему в Пизу и там заплачу вам обоим все долги. И с миром вас отпускаю». Ну, я и поверил. Да я и сам видел: любовь у них с графом...

— О графе я вас не спрашиваю, — прервал, вздохнув, Голицын. — Скажите-ка лучше, что вам известно о происхождении сей негодницы? Говорила ли она вам правду? Или кому-нибудь в вашем присутствии? Называла ли своих родителей вам или кому-нибудь в вашем присутствии?

— Никогда ничего не говорила. И никого не называла. Более прибавить ничего не могу. — И поляк залпом выпалил: — Молю о милосердии российской повелительницы и припадаю к стопам ее. И клянусь: не знал ни о каких делах, кроме конфедератских, о чем чистосердечно поведал. Да и то я должен был их исполнять как принявший присягу военную.

«Ишь, в дурачка-то играет... Ох, много бы я от тебя узнал, если б не матушкин приказ...»

В камере Доманского Голицын ведет допрос. Ушаков в углу записывает показания.

— Обстоятельства вашей жизни хорошо нам известны из полученных документов и из подробных чистосердечных показаний вашего друга господина Черномского. Следственно, всякая ложь с вашей стороны приведет лишь к тому, что употреблены будут все меры узнать до конца самые сокровенные ваши тайны. Только чистосердечное признание даст возможность рассчитывать вам на безграничную милость Ее императорского величества...

Доманский кивнул головой, показывая, что он усвоил эту истину.

— Как и при каких обстоятельствах вы познакомились с известной женщиной?

— Впервые я увидел ее в Венеции. Я состоял тогда при князе Радзивилле. Мне сказали, что некая иностранная дама, узнав, видимо, из газет, что князь Карл направляется к султану, приехала к нему в Венецию, чтоб под покровительством князя Карла отправиться туда же.

— Зачем?

— Сего мне не сообщили, Ваше сиятельство, да я и не интересовался тогда.

— Это была ваша первая встреча с иностранной дамой?

— Да, первая. Князь Карл приказал проводить эту даму на корабль, сказав мне, что это русская великая княжна. Князь Карл...

— Хватит о князе, — прервал Голицын. — И вы в это поверили?

— Все в это верили. И я тоже. Кроме того, в 1769 году в Польше услышал я как-то от графа Патса, служившего в России, что императрица Елизавета действительно находилась в каком-то тайном браке и даже имела дочь...

И опять Голицын его торопливо прервал:

— А сама негодница уверяла вас в своем вымышленном происхождении?

— И меня, и князя Карла, хотя сомнения у нас оставались. Князь Карл даже утаил ее письма Великому султану и Великому визирю. Он мне прямо сказал: «Не хочу впутываться в ее замыслы и потому эти письма оставляю у себя, а ей скажем, что отправил, иначе гневаться будет».

— Значит, князь Карл, — радостно начал Голицын, — уже тогда решил отстать от ее преступных планов?

— Ну конечно. И потому он вернулся в Венецию из Рагузы, рассорившись с этой женщиной.

— Ну а почему вы не поехали обратно в Венецию с князем Карлом?

— Да просто принцесса... — Он поправился: — То есть эта женщина предложила мне и Черномскому сопровождать ее в Неаполь и в Рим. А мы с Черномским давно хотели поклониться святому престолу и оттуда уехать в Польшу. И еще одно обстоятельство: она задолжала мне восемьсот дукатов, из которых я, в свою очередь, пятьсот занял для нее в Рагузе. И у Черномского были такие же обстоятельства. И мы поехали с ней... Потому что верили ее обещаниям, что она отдаст нам деньги в Риме.

— И вы все это время верили ее рассказам о высоком ее происхождении?

— Я же говорил: мы сомневались. Я даже обратился к ней самой — умолял сказать правду и обещал следовать за ней куда угодно, кто бы она ни была. Но она только с гневом сказала: «Как вы осмеливаетесь подозревать меня в принятии на себя ложного имени?»

— Вы сейчас сказали, что были готовы следовать за ней куда угодно, кто бы она ни была. Что сие значит?

Доманский на мгновение задумался. Глаза его сверкнули — и он выпалил:

— Да! Да!.. И уговорил друга своего Черномского с ней ехать, ибо влюблен! До безумия! Не деньги — Бог с ними, но страстная привязанность к ней... боязнь за нее заставили меня не покидать ее. Бежать с ней в Италию!

— Она давала вам какие-то надежды?

— Никаких. Просто без всяких надежд мечтал я о ней. Ложных иллюзий по поводу ее происхождения у меня не было. И часто вслух я сомневался в ее происхождении.

Он замолчал.

— Но каждый раз она вас уверяла?..

— Да! — вздохнул Доманский.

— Как она себя называла? Повторите. И не торопитесь.

— Она называла себя Елизаветой, дочерью покойной императрицы, — опять вздохнул поляк и забормотал какой-то насмешливой скороговоркой: — Знаю свою вину. Но именем всех святых хочу объяснить государыне: только любовь привела меня к ней. Я ее люблю и оттого не чувствую вины, ибо если за любовь наказывать людей, кто остался бы без наказания?! В своей жизни я никого не загубил и оттого припадаю к стопам всемилостивейшей государыни, молю о милосердии и снисхождении.

Клянусь, что никогда не верил в рассказы и верить не буду, и буду стыдиться своей глупости, и беру обязанность на себя вечно молить Бога за здоровье и долголетие царствования государыни!

«Ох, продувные бестии! Так я и поверил этим заклятым врагам государыни, когда они здравицу в ее честь поют! Так я и поверил сему человеку, который из всех сил выгораживал себя и Радзивилла и топил ту, которую он-де так любит... Ох, мне бы вас допросить с пристрастием... Ребрышки вам пощупать... Чую, тут ключ... Ан нельзя. Вот такая наша жизнь: „Узнай правду, не узнавая ее“. Ох-хо-хо-хо».

В камере перед Голицыным стоял слуга принцессы Ян Рихтер.

«И опять выслушивал я всяческие глупости. Этот пересказывал свою биографию...»

— Кем я только не был, Ваше сиятельство. Сначала был хирургом. Потом сделался венецианским солдатом, потом был скульптором. Потом играл на виолончели. Потом — на мандолине. А потом решил: всюду жизнь плоха, всюду надо заботиться, добывать деньги на пропитание. И понял: лучше всего быть слугою. Пусть хозяин о тебе заботится!

— Можете ли вы сообщить что-нибудь о происхождении вашей хозяйки?

— Да откуда, Ваше сиятельство? Я служил, дом охранял. Докторов к ней звал. Хворала часто. А как время свободное — играл на мандолине. Или бумажки складывал.

— Какие бумажки?

— А я разве знаю? Она мне говорит: «Сложи бумажку в баул да запри».

— Эти бумажки? — И Голицын показал Рихтеру письма принцессы, вынутые из баула.

— Может, и эти... А может, и не эти... Мое дело какое: что скажет барыня, то и складывал. Я ее вещи и бумажки никому не отдавал без ее приказанья. Вот за то и попал сюда.

— Как вы называете вашу барыню?

— Как все: Ваше императорское высочество.

— Вспомните: говорил ли в вашем присутствии кто-нибудь или она сама, откуда она родом? О ее родителях?

— Да зачем? Мне только одно говорили: принеси, убери, сходи. А в свободное время я на мандолине играл...

В камере перед Голицыным стояла Франциска фон Мештеде.

— Да ничего такого я о ней не знаю. Одно знаю: щедрая госпожа.

— Говорила ли она в вашем присутствии, кто она? Называла ли она себя дочерью императрицы или еще как?

— Все вокруг так говорили... А она? Не помню... Я как-то не задумывалась. Все говорили. Нет, не помню...

— Говорила ли она с вами о своих родителях, о своем происхождении?

— Да она вообще со мной мало говорила. Я ее одевала и раздевала — вот и весь разговор. Она даже когда в коляску меня с собой сажала, не объясняла, куда едет. И никто у нас в доме не знал заранее, что она делать будет. И даже на исповедь она никогда не ходила.

Князь взглянул на часы и сказал Ушакову:

— Ну что ж, теперь пошли. И помни: молчать обязан до смерти обо всем, что сейчас увидишь и услышишь.

— Так точно, Ваше сиятельство.

— Ох-хо-хо-хо, — вздохнул князь и, подняв грузное свое тело, направился в камеру к «известной женщине».

В камере принцессы.

Ушаков уселся за конторку и приготовился писать. Голицын тяжело сел на стул и внимательно поглядел на принцессу.

«Темные волосы, нос с горбинкой. Итальянка? Но по-итальянски, граф докладывал, знает плохо. Кто же она? Но хороша... Только исхудала очень».

— Кто дал право так жестоко обращаться со мной, и по какой причине вы держите меня в заключении?

«Ишь глазищи-то горят...»

— Обстоятельства жизни вашей, сударыня, нам хорошо известны по полученным вашим документам, и в том числе тем, которые вы у себя хранить изволили. Следственно, всякое запирательство с вашей стороны приведет лишь к тому, что будут употреблены — поверьте, мне горько об этом говорить, — даже крайние меры для выяснения самих сокровенных ваших тайн. А посему предлагаю вам оставить пустой гнев и отвечать со всей откровенностью на мои вопросы, полагаясь на безграничную милость Ее императорского величества. Вопросы будут предложены мною на французском языке, но если какой другой язык вам угоден...

Голицын остановился и вопросительно посмотрел на принцессу. Она молчала.

— Итак, вопросы будут предложены на французском. Вы называли

себя всевозможными именами в разных странах Европы. Как вас зовут поистине?

— Меня зовут Елизавета. А путешествовать под разными именами, как известно Вашему сиятельству, в обычае людей знатных.

— Кто ваши родители, Елизавета?

— Не ведаю.

— Сколько вам лет, Елизавета?

— Двадцать три года.

— Какой вы веры?

— Православной, — усмехнувшись, ответила Елизавета.

— Тогда кто вас крестил? И где вы провели свое детство.

— Кто крестил, не помню. Детство провела в Киле, у госпожи Перон... или Перен, сейчас не помню. Сия госпожа постоянно утешала меня скорым приездом моих родителей. Но в начале 1762 года приехали в Киль трое незнакомцев и увезли меня в Петербург...

«Ох шельма: 1762 год — это же сразу после кончины императрицы Елизаветы! На что намекает, разбойница! Ох, записывать не хочется — будет гневаться государыня».

— А потом, — продолжила Елизавета, — обещали меня привезти в Москву, но по велению царствовавшего тогда Петра Третьего увезли далеко в Сибирь — к персидской границе...

«Далее я все знал из бумаг, далее шли ее обычные выдумки: как бежала с нянькой в Багдад, как принял их персиянин Гамид и передал другому персиянину Али...»

— ...И вот тогда Али в первый раз сказал: «Ты дочь русской императрицы». То же повторяли все окружавшие меня.

— Можете ли вы назвать по именам людей, внушивших вам такую несуразную мысль?

— Кроме князя Али, никого не помню. Но в это время произошли большие волнения в Персии...

Она с упоением рассказывает. Лицо ее вдохновенно: она будто живет этими миражами, будто забыла, где находится...

«Далее повторяла все сказки, что в ее бумагах были. Про то, как Али в Лондон ее отвез. И как вернулась в Персию...»

— Из Лондона я отправилась в Париж. И всюду как приемная дочь князя Али я называла себя принцессой Али... Хотя в Париже множество французских дворян сказывали мне, что на самом деле я великая княжна и

дочь императрицы Елизаветы.

— Кто сказывал? Можете назвать по именам?

— Легче перечислить, кто не сказывал. Запишите имена всех французских дворян — от министра герцога Шуазеля до принца Лозена. Но я упорно отрицала это и называла себя принцессою Али.

— Вы отрицали?

— Именно. В этот момент я получила большие деньги из Персии и купила в Европе земельную собственность — графство Оберштейн. При покупке графства я познакомилась с его прежним совладельцем Филиппом Фердинандом, князем Римской империи, герцогом Шлезвиг-Гольштейн — Лимбургом.

«Ишь как величественно. Грозит, грозит именем, шельма...»

— Князь вскоре влюбился в меня. И я не отвергла его любви. И князь официально попросил моей руки. Я дала согласие, ибо он мне был любезен. Но для заключения брака мне нужны были документы... Она закашлялась, потом поднесла платок к губам, вытерла рот. И когда положила платок на колени, Голицын увидел...

«Бог мой... Кровь... Точно, кровь!»

— Не торопитесь, сударыня, — мягко сказал Голицын, — времени у нас предостаточно.

— Это у вас предостаточно. У меня — нет, — сказала она, усмехнувшись, спрятала платок и продолжила рассказ.

— С помощью документов я хотела разъяснить самой себе тайну моего рождения. Я даже решила сама поехать в Петербург и там представиться императрице. И снискать ее милостивое расположение, предоставив ей важные предположения о выгоде торговли России с Персией. Я надеялась, что за эту услугу государыня поможет мне разыскать мои документы, и я получу принадлежащие мне фамилию и титул, достойные для вступления в брак с владетельным князем Римской империи.

«Опять за свое. Ох, будет в гневе матушка... Ох, и будет!»

— Я хотел бы узнать... — начал Голицын.

Но она, нежно взглянув на князя, ласково сказала:

— Умоляю вас, не прерывайте меня. Вы видите бедственное мое положение, как нелегко мне говорить. Кашель душит меня... Так что позвольте мне продолжить, коли хотите узнать истину...

И, не дожидаясь ответа князя, Елизавета продолжила:

— Но в этот момент мой жених нуждался в деньгах. Я надеялась достать ему нужную сумму, ибо он вел процесс с могущественными державами по поводу принадлежащего ему княжества Шлезвиг-Гольштейн.

«Это ж с матушкой он судился! Сыну своему матушка княжество это хотела... Ох, будет гнев!»

— Я надеялась достать ему нужную сумму, рассчитывая на кредит моего покровителя князя Али. И для получения этих денег я и поехала в Венецию, чтобы найти там людей, знавших моего покровителя. Выяснив, что князь Радзивилл едет к султану, я тотчас решила отправиться с ним и под его покровительством, ибо из Турции до Персии рукой подать. В Персии я мечтала не только получить деньги для своего жениха, но и добиться от князя Али сведений о тайне моего рождения. И получить наконец документы, достаточные для моего брака. И вот тогда в разговоре со мною князь Радзивилл и намекнул, что я могла быть очень полезной для его страны... Ибо от французских офицеров ему положительно известно, что я дочь покойной императрицы.

— Вот ведь как интересно, — не выдержал Голицын. — Все говорят... А почему говорят, никто не знает... Так что полно о князе Радзивилле! Что вы ему ответили на эти глупые его утверждения?

Она опять закашлялась. И вытерла кровь.

«Ох, помрет! И правду не узнаем... Так сказки и будем слушать...»

— Князь Радзивилл сказал, — твердо продолжала Елизавета, будто не слышала замечания Голицына, — что я имею право на русскую корону. И когда достигну трона, то в вознаграждение за содействие, которое он окажет мне, должна буду возратить Польше отнятые у нее земли и заставить то же самое Австрию и Пруссию. Но я настойчиво отрицала его слова. И, более того, заметив, что князь Радзивилл... не перебивайте меня... при ограниченных способностях своего ума полон самых несбыточных мечтаний... хотела от него совершенно отделаться, но сестра его, поняв, что я имею много сведений и немало друзей на Востоке, упростила меня ехать с ними. Запишите мои слова в точности, и прошу показать их государыне...

Она опять закашлялась.

— Ну, а дальше мы с князем Радзивиллом сумели доплыть только до...

— Сударыня, — решительно прервал Голицын, — о князе вы мне расскажете впоследствии. Сейчас меня интересует прежде всего вот что... Бумаги, найденные у вас...

И Голицын выложил на стол завещание Петра Первого, Екатерины

Первой и Елизаветы...

«Завещания трех российских самодержцев... Они поддельные. Но хорошо, со знанием составлены. На основании подлинных. Тот, кто составлял, откуда-то знал подлинные. А завещание Екатерины вообще с подлинного списано. Это уже не ее сказки про Персию...»

— Откуда они у вас? Прошу вас обстоятельно ответить.

— Нет ничего проще: я сама не знаю.

— То есть как?

— То есть так. 8 июля 1774 года — на всю жизнь запомнила этот день — я получила из Венеции анонимное письмо, при котором были приложены два запечатанных конверта. В письме было сказано, что я смогу спасти жизнь многих людей, коли помогу заключить мир России с Турцией, для чего по приезде к султану я обязана объявить себя дочерью императрицы Елизаветы, каковой в действительности являюсь. В том же письме было сказано, что один из запечатанных конвертов я должна передать султану, а другой — отослать в Ливорно графу Орлову. Не скрою — я открыла письмо графу И что же? Там от имени Елизаветы Всероссийской были воззвание к русскому флоту и письмо к графу Орлову. Я сняла с этих бумаг копии. И, запечатав конверт своею печатью, отправила графу.

«Ох, шельма! Ох, ловка!..»

— Кто писал вам эти бумаги? Не торопитесь с ответом. Вся ваша судьба зависит от правдивого ответа. Одно правдивое слово спасет вас от многих печальных последствий, и наоборот, сударыня.

— Не знаю, — жестко ответила Елизавета.

— Но вы кого-то подозревали?

— Я готова присягнуть: почерк мне был незнаком.

— Сударыня, но ведь вы думали над этим... Не могли не думать. Итак, ради вашей же пользы... В последний раз спрашиваю: кто дал вам письму.

— Клянусь, не знаю. И в доказательство того, что говорю чистосердечно, признаюсь: конечно, получив эти бумаги, я стала соображать... Воспоминания детства, все слышанное от князя Али, слова Радзивилла, французских офицеров... И вот тогда-то мне и пришло на ум...

И, глядя в упор на князя, Елизавета сказала:

— А не та ли я самая, в чью пользу составлено завещание императрицы Елизаветы?

«Ох, шельма! Да и ты тоже хорош! Не прерывать такие речи!..»

— С какой целью, — сурово начал князь, — вы отослали графу Орлову эти бумаги?

— Они были адресованы на его имя, и я не имела права их не отослать. Но, с другой стороны, я отослала бумаги с тайной надеждой узнать от графа что-нибудь о своих родителях — И, усмехнувшись, прибавила: — А также обратить внимание графа на происки, которые ведутся против империи.

— И кто же, по-вашему, вел эти происки? — не унимался Голицын.

— В третий раз отвечаю: не знаю. Хотя, конечно, раздумывала. Подозрения мои пали и на Версальский кабинет, и на Турецкий диван, и на Россию, конечно. Но главное: эти бумаги привели меня в такое волнение, что стали причиной жестокой моей болезни, которая нынче, как вы видите, сильно развилась во мне...

— Итак, вы прервались в рассказе на отъезде с Радзивиллом в Венецию и на возвращении в Рагузу.

— В Рагузе было узнано мною о заключении мира России с Турцией, чему я сильно порадовалась. И тогда я стала настойчиво уговаривать князя Радзивилла отказаться от его неосуществимых планов...

— Не надо более о Радзивилле. Для чего вы уехали в Рим?

— Чтобы оттуда вернуться к своему жениху. И также я хотела продолжить попытки занять деньги для моего жениха под поручительство князя Али. Вот тогда в Риме и появился русский лейтенант Христенек с предложением от графа Орлова, что-де зовет он меня в Пизу и хочет познакомиться со мной по получении от меня бумаг. Пиза была по дороге во владения жениха моего. И я согласилась. Но граф Орлов...

— Граф все поведал нам подробно. Так что подробности не излагайте.

— Граф по приезде моем в Пизу, — будто не слыша, продолжала Елизавета, — снял для меня дом. И явился сам, и учтивейшим образом предложил мне свои услуги. Пробыв в Пизе девять дней, я сказала графу, что желала бы ехать в Ливорно. Я сказала это потому, что граф обещал...

— Обстоятельства, почему граф обещал, нам ведомы. Я прошу вас быть краткой, прежде чем мы перейдем к самому важному вопросу.

— В Ливорно, когда мы обедали у английского посланника, — по-прежнему, будто не слыша, продолжала Елизавета, — я попросила графа посмотреть Российский флот, маневры которого при многократной пальбе тогда происходили.

«Странно... Зачем она на себя берет? Это ж Алексей Григорьевич

наверняка подманил ее на корабль».

— На корабле граф от меня отлучился, и я услышала вдруг голос офицера, объявившего, что велено ему арестовать меня. Это явилось полной для меня неожиданностью. Тотчас я написала графу письмо, требуя объяснения жестокого и необъяснимого случая. Он ответил мне письмом, которое я вам передаю. — И она положила перед князем письмо.

Голицын, не читая, положил письмо в бумаги, лежащие на столе...

— Из всего сказанного, надеюсь, вы поймете, почему я столь изумлена, здесь очутившись. Ибо никаких злокозненных намерений к императрице не питала. Судите сами: если б питала, разве взошла бы я с такой доверчивостью на российский корабль?

«Ах, вот зачем „сама попросилась на корабль“!»

— Я выслушал с терпением вашу историю, сударыня. А сейчас от сказок мы перейдем к делу. Вы должны мне ответить на вопрос, который в своем повествовании многожды старались миновать. По чьему наущению вы выдавали себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны?

— Наоборот, князь, в своем рассказе я как раз многократно подчеркивала: я никогда сама не выдавала себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны. Никогда и ни в одном разговоре я этого не утверждала. Другие — да: князь Али, мой жених, гетман Огинский, князь Радзивилл, французские...

— А вы сами ни разу? — насмешливо прервал Голицын. И добавил с торжеством: — Но в своих показаниях ваши приближенные Доманский и Черномский неоднократно, подчеркиваю, неоднократно уличают вас совсем в обратном. Извольте прочесть, сударыня, их показания.

И он выложил перед ней бумаги. Она тотчас с любопытством пробежала бумаги. И расхохоталась.

— Ну, можно ли всерьез слушать глупца? — вдруг кокетливо и как-то легкомысленно спросила принцесса.

— Но они оба, оба...

— А двух глупцов тем более. Просто эти идиоты не понимают юмора. Да, иногда, шутя, чтоб отделаться от их назойливого любопытства, я говорила: «Да принимайте вы меня за кого угодно! Пусть я буду дочь шаха... султана... русской императрицы... Я ведь сама ничего не знаю о своем происхождении».

— Значит, шутили? — усмехнулся князь.

— Шутила. — И, улыбнувшись, она нежно взглянула на князя.

— Наверное, после подобных шуток слухи о вашем

происхождении, — заторопился князь, отводя от нее глаза, — распространились в Венеции и в Рагузе?

— Сама дивилась... и сама беспокоилась. И даже просила рагузский сенат принять надлежащие меры против этих вздорных слухов. — Она с открытой издевкой смотрела на князя. — Я сказала вам все, что знаю, больше мне нечего добавить. В жизни своей мне пришлось много терпеть, но никогда не имела я недостатка в себе духа и недостатка в уповании на Бога. Совесть не упрекает меня ни в чем. Надеюсь на милость государыни, ибо всегда чувствовала влечение к вашей стране... Всегда старалась действовать в ее пользу.

И опять князю померещилась издевка.

— Подпишите показания, сударыня, — устало сказал князь.

Она взяла перо и подписала твердо латинскими буквами: Елизавета.

«Убила... Себя убила!..»

— Сударыня, так нельзя. Одним именем без фамилии подписываются царственные особы. Все прочие подписывают у нас фамилию.

— А что мне делать, коли не знаю я своей фамилии? — язвительно улыбаясь, спросила Елизавета.

— Все, конечно, так... Но, прочтя ваши показания, — князь сделал паузу, — могут подумать, что вы настаиваете на лжи, которая уже привела вас в эти стены и от которой вы отрекаетесь в показаниях своих.

Глаза Елизаветы сверкнули.

— Я привыкла говорить правду: я Елизавета. Более ничего прибавить не имею.

Она закашлялась. И опять вытерла кровь с губ.

31 мая 1775 года в своем дворце князь Голицын писал первое донесение императрице. В этом донесении было все, что хотела прочесть Екатерина.

«Что касается поляков, то об них заключить можно, что они попросту доверились слухам о мнимом сей женщины происхождении и попросту примазались к ней, как бродяги, прельстившись будущим мнимым счастьем... Ее слуги ничего такого, что уличало б эту женщину или поляков, не показали и лишь сказывали, что, по слухам, считали ее принцессою...»

Всю вину, но достаточно мягко, добродушнейший князь возлагал на одну «известную женщину».

«История ее жизни наполнена несбыточными делами и походит более

на басни. Однако ж и по многократном моем увещевании, и при чтении допросов поляков она ничего из сказанного отменить не захотела. Не имея возможности пока основательно уличить ее, не стал я налагать на нее удержание в пище и не отлучил от нее служанку. Ибо отлучить служанку значит обречь ее на полное безмолвие, так как ни один человек из охраняющих ее иностранных языков не знает, а она по-русски не говорит ни слова. Кроме того, от долговременной бытности на море, от строгого нынешнего содержания и, конечно же, от смущения духа сделалась она совсем больною. Мои наблюдения о ней: по речам и поступкам можно судить, что она чувствительна и вспыльчива, разум имеет острый и весьма много знаний. По-французски и по-немецки говорит с совершенным произношением, знает итальянский и аглицкий и объявляет, что в Персии выучила арабский и персидский. Так как находится она сейчас в болезни, я приказал допустить к ней лекаря...»

Князь закончил писать и позвонил в колокольчик. Вошел секретарь Следственной комиссии Ушаков. — Отправишь в Москву с нарочным Гревенсом к государыне.

И опять Голицын допрашивал, а Ушаков за конторкой записывал показания.

— Не появилось ли у вас намерения сделать признание?

— У вас доброе и правдивое сердце, князь, вы не можете не чувствовать, что я все время говорю правду.

Она смотрела на него своими огромными глазами.

Князь торопливо отвел взгляд, а она продолжала:

— Поверьте, князь, я никогда не знала, что такое совершать зло. Вся система моей жизни состояла в том, чтобы творить добро. Если бы я замышляла зло, разве поехала бы я одна на флот, где двенадцать тысяч человек?

— Вы это уже говорили, сударыня.

— И повторю: я не способна на низость. Простите, что я надоедаю вам своими рассуждениями. Но люди чувствительные, подобные Вашему сиятельству, так легко принимают участие в других. Наверное, поэтому я испытываю к вам слепую доверчивость. Князь, я написала письмо государыне... И умоляю вас: вы передадите его! Вы передадите его, князь? Обещайте!

Она вдруг схватила его руку и поцеловала.

— Ох, что вы, сударыня, — засуетился и без того растроганный князь, — ну конечно, передам. Конечно, передам... Это обязанность

моя, — сказал он, вспомнив об Ушакове.

— Тогда я прочту письмо, чтоб вы знали, что передаете. — И, не дожидаясь ответа князя, она начала читать наизусть письмо:

«Ваше императорское величество, истории, которые писаны в моих показаниях, не смогут дать объяснение многим ложным подозрениям на мой счет. Поэтому я решаюсь умолять Ваше императорское величество выслушать меня лично, *ибо имею возможность доставить большие выгоды вашей империи*. Ожидаю с нетерпением повеления Вашего величества и уповаю на ваше милосердие. Имею честь быть с глубоким почтением Вашего императорского величества покорнейшая и послушная к услугам, — она помедлила и почти с торжеством прочла подпись: — Елизавета».

Голицын побледнел:

— Вы сошли с ума. Так не пишут императрице. Я уже обращал ваше внимание, — начал он, стараясь говорить грозно, — на непозволительную дерзость вашей подписи под протоколом. И вот теперь...

— А я вам объяснила, — вдруг холодно и высокомерно ответила Елизавета, — что другой подписи быть не может. Вы обязаны, князь, передать Ее величеству мое письмо.

«Боже мой... Когда матушка получит вот это... Да после моего благостного донесения... да еще прочтет до того ее подпись под протоколом... Это ведь конец! Ей — конец!.. Да и тебе... Ох, и будет тебе гнев матушки!»

— Послушайте, я действительно к вам добр, ибо вы больны. Это письмо может привести к крайним мерам и самому суровому содержанию. Вы не представляете, что такое «суровое содержание». И чем оно станет для вас, изнеженной и очень больной женщины. Вы долго не протянете...

— Да-да. Я поняла, что вы добры ко мне... Что вы хотели бы, чтобы я тут «протянула долго». А коли я предпочитаю...

И она засмеялась.

«Нарочно! Ну конечно!..»

— Князь, вы дали слово, — твердо сказала она, — и я уверена: вы его сдержите. Вы передадите мое письмо. Тем более что услуга, которую я смогу оказать при встрече вашей императрице, поверьте, будет исключительной! — Да не записывай ты! — в сердцах сказал князь Ушакову.

Екатерина в Москве

Весь 1775 год Екатерина прожила в Москве. Только что пережившее смертный страх перед пугачевским воинством московское дворянство радостно встречало императрицу.

Ах, эта Москва... Теплые московские дворцы, утопающие в зелени, и, как контраст, как вечный спор, беспощадное видение Санкт-Петербурга: прямые стрелы проспектов, холод Зимнего дворца, лед Невы, безжалостные шпили крепостей...

Когда по воле Петра вся знать потянулась в Петербург, северный парадиз не пришелся по вкусу старым дворянским родам. Сердца их рвались обратно, в родное московское приволье.

Блестящие вельможи, выйдя в отставку или попав в немилость, немедленно селились в Москве и доживали тут свои дни в роскоши и в полнейшем бездействии. Москва становилась ворчливой оппозицией Петербургу. Екатерина называла ее республикой и заботилась о том, чтобы сохранять с ней добрые отношения.

Дети богатейших московских вельмож составляли основу гвардии, той самой гвардии, которая возводила на трон и свержала с трона российских государей.

Москва XVIII века. Это был единственный в мире город-усадыба. Извилисто текла еще не закованная в трубы Неглинка, образуя великие болотца, пруды и застойные лужи. Грязь убирали лениво, что способствовало возникновению знаменитой чумы, опустошившей город в 70-е годы, во время борьбы с которой так отличился Григорий Орлов.

Но зато не было проклятой петербургской тесноты.

Великолепны раздольные подмосковные усадьбы: юсуповское Архангельское, панинское Марфино, шереметевское Останкино, и столь же привольны городские дворцы-усадыбы с такими же обширными парками за чугунными оградами, с домашними церквями... Все это соседствовало с деревянными лачугами с завалинками и огородами.

Древний Кремль — гордость москвичей — был, увы, в запустении. Он просыпался только во времена коронаций. И вновь погружался в вековой сон, нарушаемый лишь московскими пожарами.

Как горела тогда Москва! В 1701 году великий пожар сжег Кремль. Петр занимался строительством Петербурга, и было ему не до ненавистной московской старины. И обгорелые стены кремлевских дворцов угрюмо

зияли черными провалами.

В 1737 году новый страшный пожар обрушился на Москву. Пожар вспыхнул от свечки перед иконой и остался в пословице «Москва от копеечной свечки сгорела...» Наконец богомольная Елизавета, столь любившая Первопрестольную, где провела она свои девичьи годы, где, по преданию, венчалась с Алексеем Разумовским и где жила часто в великолепном его дворце, обращает свои взоры на разрушенный Кремль. И, к ужасу ревнителей московской старины, повелевает иноземцу Растрелли разобрать обветшавшие здания и построить дворец. Он построил для Елизаветы в Кремле неудобный зимний дворец, который царица не любила и в котором никогда не жила...

Екатерина пошла в своих заботах о Кремле еще дальше. В 1773 году был заложен гигантский дворец по проекту Баженова. Он должен был охватить весь Кремль, но, к счастью, истощенная пугачевским бунтом и войною казна не дала возможности осуществить это... Последствия внимания Екатерины были страшны: уничтожение еще крепких старых зданий Приказов, знаменитого Запасного дворца, где когда-то помещались хоромы Самозванца, снос Тайницкой башни, палат Трубецких, церкви Козьмы и Дамиана, дворцов духовенства. По планировке 1775 года была расчищена Красная площадь, сломан старый Гостиный и Посольский дворы, уничтожены стены, ворота и рвы Белого и Земляного городов...

Пока шло очередное разрушение-реконструкция древнего Кремля, Екатерина жила в старом Коломенском дворце.

В девять утра князь Александр Алексеевич Вяземский, как всегда, шел с докладом в кабинет императрицы.

Надев «снаряд», Екатерина читает отчет князя Голицына. Сначала с милостивой улыбкой: добрая государыня читает отчет доброго слуги. Но постепенно лицо ее мрачнеет. Наконец, отбросив бумаги, императрица приходит в бешенство. Она быстрыми шагами разгуливает по кабинету, пьет воду и бормочет:

— Бестия!.. Каналья!.. Это не донесение, это любовное послание. Этот выживший из ума старец, по-моему, совсем потерял голову от развратной негодницы!

Наконец она успокоилась, уселась в кресло, позвонила в колокольчик.

Вошел молодой белокурый красавец Завадовский, новый секретарь императрицы.

Петр Васильевич Завадовский с весны 1775 года состоял «при

собственных делах императрицы». В июле того же года при праздновании Турецкого мира ему будет пожаловано полтысячи душ в Белоруссии.

— Пишите, мой друг.

Секретарь усаживается за столик.

Екатерина, расхаживая по кабинету, начинает диктовать письмо Голицыну.

Князь Вяземский, как всегда, молча наблюдает эту сцену. Он есть — и его нет. Он умеет исчезать, оставаясь на месте.

— «Князь Александр Михайлович, — диктует Екатерина. — Пошлите сказать известной женщине, что, ежели желает она облегчить свою судьбу, пусть перестанет играть ту комедию, которую она в присланных нам бумагах играет. Это дерзость. Дерзость доходит до того, что она смеет подписываться Елизаветой».

— Я не успеваю, Ваше величество, — говорит Завадовский.

— Простите, мой друг, — берет себя в руки Екатерина.

И вновь диктует, обращаясь к нему с нежной улыбкой, и вновь постепенно приходит в бешенство:

— «Велите к тому прибавить, что никакого сомнения не имеем, что она авантюристка. И для того посоветуйте этой каналье, чтоб она тону-то поубавила и чистосердечно призналась, кто заставил играть ее сию роль? И откуда она родом? И давно ли сии плутни ею вымышлены? Повидайтесь с нею, князь, и весьма сердечно скажите этой бестии, чтобы она опомнилась. Вот уж бесстыжая каналья! Дерзость ее письма ко мне превосходит всякие чаяния!»

— Я не успеваю, Ваше величество.

— Простите, мой друг.

Она продолжает диктовать:

— «И я серьезно начинаю думать, что она попросту не в полном уме. Остаюсь доброжелательная к вам Екатерина. Москва, июня 7 дня 1775 года».

Подписав письмо, императрица обращается к Вяземскому:

— И намекните князю, что, если сии два вопроса в самом скорейшем времени не получат ответа...

Вяземский поклонился.

Екатерина взяла себя в руки и добавила привычно благостно:

— И пусть он поосторожнее будет с этой канальей. Князь добр, а женщина бесстыжа и коварна. Что еще у нас, Александр Алексеевич?

— Граф Алексей Орлов пересек границу России и сухопутным путем направляется в Москву.

Вяземский вопросительно посмотрел на императрицу.

— Ну что же, граф доблестно вел себя в сражениях, он оказал нам неоценимые услуги в деле с этой бестией, и мы с нетерпением поджидаем графа в Москву на наши торжества по случаю заключения мира с турками. Заготовьте указы о присвоении титула Чесменского и о прочих его наградах.

Голицын: «И все-таки — кто она?»

Князь Голицын и Ушаков вошли в камеру Елизаветы. Князь был мрачен.

— Ах, князь, где же вы столько пропадали?.. Я скучала, — нежно и кокетливо, будто не замечая настроения князя, начала Елизавета.

— Я ждал ответа Ее величества на ваше послание, — хмуро сказал князь. И добавил сухо и строго: — Ее величество справедливо возмущены дерзостным тоном вашего письма и предлагают вам впредь перестать играть комедию, которую вы, несмотря на все увещания наши, играть продолжаете. И немедленно ответить на следующие вопросы: кто надоумил вас присвоить царское имя? Откудова вы родом?

— Князь, я уже объяснила: никто! — не торопясь, начала Елизавета. — Просто откуда-то возник слух...

— Так! Отвечать отказываетесь! Пиши! — обратился князь к Ушакову. — Второй вопрос: откудова вы родом?

— Но, князь, вы же знаете... Я много говорила вам, что эта загадка мучает меня всю мою жизнь, и...

— Пиши: опять отвечать отказывается, — жестко обращается князь к Ушакову. — И третий вопрос: от кого получили вы тексты завещаний российских государей?

— Но я уже отвечала вам: не знаю... Может быть, и есть моя вина в том, что, не зная, я отправила их графу...

— И на третий вопрос отвечать не желает. — И князь, пряча глаза, сказал Елизавете: — Ну что ж, видит Бог, государыня была к вам милостива, но всякому терпению есть конец. — И он приказал Ушакову: — Пусть войдет господин комендант...

«Клянусь, она с любопытством ожидала дальнейшего. Не с ужасом, а с любопытством. И такая была гордая! Господи, отведи искушение!»

В камеру вошли комендант и солдаты.

— Отберите у сей женщины все! Все, кроме постели и самого нужного белья и одного-единственного платья. Ее служанку более не допускать к ней. Пищу давать крестьянскую. Простую кашу... Офицеры и двое солдат должны находиться теперь внутри помещения денно и нощно. Господин Ушаков! Переведите ей.

В камеру уже входили офицеры и солдаты. Комендант выносил вещи принцессы.

Она выслушала Ушакова, залилась слезами и упала на постель.

— Ах, голубушка, я же предупреждал, — сказал князь и торопливо вышел из камеры. Он не терпел женских слез.

В камере остались офицер, двое солдат и Елизавета.

Она тотчас перестала плакать, внимательно посмотрела на пришедших и обратилась к ним сначала по-немецки:

— Вы тут намерены быть всегда, господа?

Но они молчали.

Она заговорила по-французски.

Солдаты и офицер только переглянулись и продолжали молчать.

Они понимали только по-русски.

В своем дворце Голицын в халате сидел в кабинете. Перед ним стоял комендант крепости Чернышев. Комендант докладывал.

— Совсем плоха. Два дня не ела. И кровью ее рвало. Не может она принимать эту пищу. Потом вас все звала. Но солдатушки не понимают... Наконец многократным произнесением вашего имени она их вразумила. Те дали ей перо и бумагу. Вот, Ваше сиятельство...

Князь читает записку Елизаветы:

— «Именем Бога умоляю вас, сжальтесь надо мной. Здесь, кроме вас, некому меня защитить. Придите! Я, как в могиле, в таком молчании...»

Голицын пришел в камеру Елизаветы. На этот раз один, без Ушакова.

— Увещаю вас, сударыня... Сами видите, к чему приводит запертость. Откройте, государыня милостива.

Она хотела ответить и закашлялась.

«Помрет... Помрет, а мы так и не узнаем. Ох, будет гнев!»

Елизавета вытерла кровь и вдруг начала с удивительной энергией:

— Не хотят даже слушать доказательство моей невинности, — уставилась на князя томными глазами. (Ах, как страшился князь этого ее взгляда!) — Будьте милосердны, не верьте бредням и слухам. Лучше поглядите внимательно в мои бумаги. Прочтите там письмо маркиза де Марина. Он, умнейший человек, серьезно сообщает мне о слухах: будто в моем распоряжении персидская армия в шестьдесят тысяч человек! И сколько еще таких бредней обо мне ходило!.. Почему я должна за них отвечать?

— Но у нас есть сведения, — сказал князь, отводя глаза, — что это вы

сами многократно утверждали, будто у вас шестьдесят тысяч войска, так же как это вы писали султану письма, где подписывались именем дочери императрицы.

— Князь, это сплошные недоразумения! — сказала она вдруг легкомысленно. — Поймите, я очень доверчива и за это много страдала, но я честна. Честна перед императрицей. Знаете что... Соберите обо мне мнения самых знатных людей Европы! Князь, умоляю, выпустите меня отсюда! Клянусь, я буду молчать обо всем. Я все забуду, вернусь к своему жениху в Оберштейн. Ну, выпустите меня, князь!

— Вы никак не хотите понять серьезности вашего положения и оттого не хотите сознаться.

— Ох, я так не люблю быть серьезной!.. Я так боюсь серьезных людей. — Она продолжала свою игру. И добавила, с необыкновенной нежностью глядя на князя: — Да и в чем мне признаваться? Скажите, я произвожу впечатление сумасшедшей? Тогда зачем же вы приписываете мне сумасшедшую идею: сменить власть в России! В стране, языка которой я даже не знаю. Да если бы весь свет уверял меня, что я Елизавета, неужели, по-вашему, я настолько безумна, что не смогла бы понять, что я, жалкая женщина, не могу идти против великой незыблемой империи?.. Умоляю, сжальтесь надо мной и, главное, над невинными, которых здесь заточили единственно за то, что они были при мне! Неужели я их погублю?

«Когда она вот так говорит... я забываю, зачем пришел. И верить ей начинаю...»

— Вы говорите, что некоторые особы, известные в Европе, могут дать о вас необходимые сведения? — попытался вернуться к допросу князь.

— Да! И наверняка помогут раскрытию моей тайны, которой я сама не знаю! Клянусь! — Она почти кричала. — Я ее не знаю!

— Хорошо, кто они, эти люди? Назовите, — стараясь быть строгим, спросил князь.

— Князь Филипп Фердинанд Шлезвиг-Гольштейн-Лимбург, литовский гетман Огинский, маркиз де Марин, французский министр Шаузель...

«Ну разве эти бредни удовлетворят матушку? А мне опять донесение писать...»

— Послушайте, — устало начал князь, — я увещаю вас раскройте, кто вы? Кто внушил вам мысль принять на себя царское имя?.. Вы же видели, чем кончается запирательство. А ведь существуют еще крайние меры... У нас с вами два исхода: или мы о вас все узнаем, или вы все

узнаете о наших «крайних мерах»...

— Я сказала все. И не только мучения, но и смерть не заставит меня отказаться от моих показаний!

Князь только скептически покачал головой.

«Ох-хо-хо! Я-то знаю, как отказываются, да еще какие люди... Не тебе чета, милая красавица...»

И сказал, стараясь быть суровым:

— Ну что ж, при таком упрямстве вряд ли можно ожидать помилования...

В ответ она только закашлялась.

— И все-таки передайте Ее величеству: я жду, когда она со мной поговорит.

Князь только махнул рукой и вышел из помещения. Сказал ожидавшему его коменданту:

— Допустите к ней служанку, выведите солдат из камеры и кормите со своего стола. — И прибавил, будто оправдываясь: — А то долго не протянет. И правды не узнаем.

Екатерина: «Кто она?»

Москва, Коломенское, девять утра.

Екатерина беседует с князем Вяземским. Это их обычная утренняя беседа. Беседа «исполнительного» человека с императрицей: она говорит, а князь Вяземский молча кивает или издает восхищенные восклицания, вроде: «Ну, точно, матушка! Точно так, матушка государыня!»

Екатерина говорит:

— Вместо покаяния она громоздит ложь на лжи. Да и князь хорош! Она открыто водит его за нос. А он серьезно нас спрашивает, можно ли по просьбе разбойницы обратиться за выяснением ее жизни чуть ли не ко всей Европе. Эта интриганка хочет нашими руками известить о своем положении весь мир.

— Совершенная правда, Ваше величество.

— А князь не понимает. Или он действительно потерял голову, или он дурак. Напишите ему: мы-де сора из нашей избы в Европу выносить не привыкли... И пусть продолжает выяснять, кто сия каналья на самом деле и кто подучил ее преступным действиям?

Князь Вяземский проникновенно кивал.

— И еще: пусть он объявит сей лгунье, которая опять просит у меня аудиенции... Смее просить... Что я никогда!.. Никогда!.. НИКОГДА ЕЕ НЕ ПРИМУ, ибо мне известны и преступные ее замыслы, и крайняя ее лживость.

Она позвонила в колокольчик. Вошел все тот же обольстительный секретарь Завадовский.

— Сейчас, мой друг, — обратилась она с мягкой нежностью к молодому человеку, — мы будем писать письмо князю Александру Михайловичу Голицыну.

Молодой человек восторженно улыбается императрице.

Голицын: «Кто она? Кто она? Кто она?»

Санкт-Петербург, дворец Голицына.

Князь закончил читать письмо императрицы.

— Ох-хо-хо, — вздохнул Голицын, — опять придется ее на хлеб и воду!

Целый месяц бился в заколдованном кругу бедный князь — то отменял строгие меры, то применял. И все с ужасом ждал, что императрица велит принять «крайние меры», и тогда арестантке придет конец, и так и не выяснит он правды. Но Екатерина к «крайним мерам» отчего-то не прибегала. Вместо этого из Москвы забрасывали его бесконечными повелениями.

«Со второй половины июля матушку вдруг начал интересовать лишь один вопрос: кто она, сия женщина, на самом деле?»

Раннее утро, князь мирно спит в своей опочивальне. Входит камердинер князя, осторожно будит своего господина:

— Ваше сиятельство... Срочная депеша. Из Москвы. Велено разбудить...

Старый князь спросонок читает депешу:

— «Милостивый государь! Ее величеству через английского посланника донесено, что известная самозванка есть трагирщикова дочь из Праги. Сие обстоятельство, мы надеемся, к обличению обманщицы послужит. И вы немедленно должны использовать его. И то, что откроется, Ее императорскому величеству тотчас донести. Генерал-прокурор князь Вяземский».

Хохочущее лицо Елизаветы.

— По-моему, князь, вы сошли с ума!.. Так и передайте тем, кто снабдил вас этой чепухой.

И опять раннее утро в опочивальне князя Голицына. И опять его почтительно будит камердинер:

— Ваше сиятельство, депеша от императрицы.

И опять спросонок с трудом читает бедный князь:

— «Адмирал Грейг имеет подозрение, что распутная лгуня — полька. Вы можете в разговорах с ней узнать незамедлительно, на самом ли деле она есть польская побродяжка...»

И опять камера. И опять умирающая от хохота Елизавета.

— Из-за этого вы разбудили меня?! Чтобы сообщить этот вздор?!

И опять дворец Голицына. И опять его будит растерянный камердинер с очередной безумной депешей в руках.

«Я понимал, что матушка начала сильно нервничать, но что я мог поделать? Молчала разбойница! На этот раз матушке сообщили, что, по слухам из Ливорно, самозванка есть итальянская жидовка».

Сидя на кровати, полусонный князь дочитывал письмо императрицы: — «И скажите: коли в этот раз она опять не признается в правде, и не послушает наших монарших слов, и вместо признания будет продолжать свои бредни, мы тотчас отдадим ее в распоряжение суда и решим дело по справедливости и суровости установленных нами законов».

Раннее утро. В камере Елизаветы князь Голицын и Ушаков.

— Значит, еврейка? — усмехается Елизавета. И, помолчав, вдруг добавляет: — Передайте императрице, что я не могу и на этот раз принять ее *предложение*.

— Какое предложение? О чем вы смеее говорить, сударыня?

— А вы до сих пор не поняли? Императрица в который раз делает мне предложение: коли я соглашусь на одну из этих глупостей и признаю себя дочерью трактирщика или еврейкой, я думаю, что мне даже предоставят свободу.

— Не записывай это, болван, — прохрипел князь Ушакову.

— Но передайте вашей государыне: никаких предложений. Только аудиенция. Без нее ничего не будет. Личная встреча.

— Ох, накличете вы, сударыня... Да за такие речи завтра же «крайние меры» последуют.

— Не последуют. Никаких «крайних мер» не будет, — вдруг усмехнулась Елизавета. — Ибо хозяйка наша боится, что при «крайних мерах» я тотчас скажу то, что знаю. Не выдержу и расскажу. А она не хочет этого услышать. Она так не хочет этого услышать, что боится даже встречи со мной... А хочет она, чтоб я только признала, что ничего не было. *Была лишь безумная лгунья, всклепавшая на себя чужое имя.*

— Опомнитесь, сударыня, еще раз увещаю. И когда опомнитесь, мы разговор продолжим.

«А ведь и вправду как все странно! Государыня грозит, а „крайних мер“ не следует... Неужто?..»

Голицын и комендант Чернышев шли по двору Петропавловской крепости. Холодное летнее петербургское солнце горело на золотом

шпиле...

— Нервна очень и кашляет... Ох, не протянет!

— Так ведь почему нервна она?.. — усмехнулся комендант. И, подмигнув, прибавил: — Неужто не догадались, Ваше сиятельство?

— Да ты что?

— Жена моя первая поняла. А вчера и лекарь подтвердил.

— Только этого недоставало! — всплеснул руками князь.

Орлов: Дым отечества

В Москве, в Коломенском дворце, Екатерина принимала графа Алексея Орлова.

— Рада тебя видеть в отечестве, Алексей Григорьевич, накануне празднеств наших. Велика твоя доля в победе. Надеюсь, по заслугам и оценила.

— Приношу тебе рабскую благодарность за великие твои милости, матушка!

— Брат твой Григорий в Петербурге в полном здравии, и, надеюсь, скоро его увидишь. Вот и послы иностранные с изумлением отмечают, что вновь он у нас в полной милости. Не понимают, что никогда не забуду услуг вашей семьи нам и отечеству.

— Рабы твои до смерти.

— Знаю.

— Надеюсь, что усердие свое я тебе доказал, когда разбойницу к тебе доставил, — чуть усмехаясь, говорит граф.

— Оно и видно, — пришел черед пошутить императрице. — Лекарь говорит: тяжела она... Впрочем, сия развратница со всей своей свитой, говорят, жила?

Орлов молчал.

— И притом, — вдруг взрывается Екатерина, — смеет нам писать, настаивать на свидании. Объявляет, что может сообщить нам нечто важное. — И совсем уж насмешливо закончила: — Как ты думаешь, Алексей Григорьевич, что она хочет нам такого важного сообщить?

— Уж не знаю, матушка государыня. Но совсем не то, что нашептывают тебе, матушка, друзья мои здешние. Я перед тобой чист: заманил и привез. Как обещал.

— Граф, ты с ней в полной откровенности был... Кажется, так?.. — продолжала насмехаться императрица. — Ну, и кто же она?

— Да, хороши слуги у тебя, коли до сих пор не выяснили!

— Так помоги им.

— Ан не могу, — улыбается граф. — Я отписал: не сказала. Все сказала, — продолжал он, в упор глядя на Екатерину, — и как любит, сказала. А уж она говорить умела... Молода да хороша. Так, что забыть нельзя.

— И ей тебя тоже. До смерти, — усмехнулась императрица. — И все-

таки, граф, что по сему поводу думаешь?

— Сначала я решил, что побродяжка. Плетет басни свои... Но как-то ночью... Ночью... — повторил он, глядя на Екатерину.

— Ночью, — печально повторила императрица, будто вспомнила что-то...

— Так вот. Ночью... она вдруг имя одно сказала. Каковое знать ей неоткуда было: Иоганна Шмидт...

— Помню ее, — вздохнула государыня.

«Еще бы не помнить тебе любимой наперсницы Елизаветы! Уж как она тебя тиранила!..»

— И еще про Кейта, англичанина, на службе Елизаветы находившегося. А потом и про учителя...

— Про какого учителя? — тихо спросила Екатерина.

— Дитцеля... Ну, который, по слухам, увез... Августу вместе с племянником Разумовского в Европу. А Дитцеля этого иногда она кличет Шмидтом. Все перемешалось в ее головке... Или рассказал ей все это кто-то. Или молода была, когда все узнала.

— Ну что ж. Сильно опутала тебя бесстыжая лгунья. Неужто забыл, Ваше сиятельство, что сказал вам старик Разумовский: никакого брака тайного не существовало. Как и Августы, следственно! Не в твоём возрасте повторять вековые сплетни! Но чтоб до конца во всем уверенным быть и слугам нашим нерасторопным помочь, поезжай-ка ты сам в крепость, граф. И разузнай все. Уж доведи до конца дело свое! — улыбалась императрица.

Он помолчал, потом сказал глухо:

— Зачем на муку меня посылаешь, Ваше величество?

— Если сие мука для тебя, дай Бог! Значит, сердце в тебе осталось. А без сердца как жить, граф?.. Граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский, как теперь будут тебя называть... Вторая часть имени почетна, да и пригодится... — опять она усмехнулась, — ребенка будущего прозывать. Чтоб знал да гордился.

Вошел Потемкин.

Они стояли друг перед другом — Орлов и Потемкин, оба огромные, косая сажень в плечах, и смотрели друг на друга ненавидящими глазами. Но под взглядом императрицы покорно обнялись и радостно расцеловались.

— Граф хоть и устал с дороги, — сказала императрица, — но в Петербург направляется. Торопится облобызать любимого брата. Не будем задерживать его досужими разговорами...

В 1860 году в «Северной пчеле» была напечатана история некоего

Винского. В 1778 году, то есть через три года после описываемых событий, был он посажен в тюрьму за политическое дело, в тот самый Алексеевский рavelин. Под старость Винский написал об этом «Записки». Он писал, что в конце срока временно перевели его в большое сухое помещение. И как-то, стоя у окна, он заметил на стекле итальянскую надпись, нацарапанную алмазом: «O! mio Dio!»

Винский спросил сторожа, приносившего еду, кто был здесь до него. И показал на царапины на стекле.

— Некому другому писать, кроме барыни. Перстень у нее был. Привезли ее издалека, по-русски совсем не знала. Я ей еду носил, да не как тебе — а настоящее кушанье, с комендантской кухни. А потом к ней как-то сам граф приезжал — Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский. А потом она у нас и родила. А что? Здесь у нас все, как у людей. Тюрьма ведь тоже дом.

В камере темно, тускло горел огарок свечи. Она сидела на постели, расчесывала волосы, и головка ее была склонена, как на том экране.

Орлов в ужасе смотрел на исхудавшее лицо: одни огромные глаза да копна роскошных волос.

— Прости... Я... должен был предупредить о своем приходе.

Она расхохоталась.

— Ты сошел с ума. Какие церемонии в этом палаццо! — Она указала на солдат, молчаливо сидевших в углу темной камеры. — Видишь этих очаровательных мужчин при оружии? Они не покидают меня ни днем, ни ночью. А что? Они и есть теперь мои мужчины. Были те, теперь эти. Так что вы, граф, здесь всего лишь один из посторонних непрошенных мужчин.

— Я немедленно распоряжусь...

— Вы? Распорядитесь? — Она опять покатила со смеху. — Ну, не смешите меня! Игра закончена. Это раньше, когда я с вами только знакомилась, я уверена была, что вы распоряжаетесь. А теперь я знаю: в этой стране распоряжается только она. А вы — рабы. Ты, добрейший князь Голицын... Нет-нет, я без иронии. Он действительно добрейший. Просто я представляю, с какой добрейшей улыбкой он вздернет меня на дыбу, коли она прикажет. Хозяйка... Бедная! Она так боится, что не успеет узнать... Что я убегу... в могилу. А еще больше боится — узнать... Решила все-таки через тебя попробовать. Послала — и ты пришел. После всего, что сделал. Не постыдился. Точнее, стыдился, но пришел. Потому что раб. — И вдруг она закричала: — Как вы смели! Вы, который шептали в ночи... Вы, которому я все... Кто дал вам право бессовестно распорядиться чужой

судьбой? — Она снова расхохоталась. — Это я так на корабле, когда тебя поджидала, в мыслях вопила. А сейчас — не хочу. На рабов не сердятся. Как на этих солдатиков несчастных. Они мне как родные. Помнишь, мы говорили, как на плахе жертва дарит палачу нательный крест. Братается с ним. Боже, как мне было это дико слышать когда-то. А сейчас поняла. В тюрьме должно многое понять... — И она протянула ему из темноты нательный крест. — Держи, я тебе приготовила. Я знала, что она тебя пошлет.

Он взял крест.

— Клянусь на кресте! Я тебя любил.

— Не надо. В любовь мы наигрались. Оба.

— Я не играл, Алин. Я любил. Я и сейчас тебя люблю.

— Тогда еще страшнее. Тогда ты даже не дьявол. Ты — никто... А я тебя не любила. Я виновата. Я любила... что? Деньги? Нет, их я тратила. Я любила власть. Власть над всеми. Как здесь это смешно! А ты успокойся. Ты не виноват. Я играла с тобой. И думала, что выиграла. И проиграла, потому что я впервые встретила с любовью раба. Объясни своей госпоже: она тебя зря послала. Скажи, что «развратница»... Это она так меня кличет. Эта дама, о бесчисленных любовниках которой легенды ходят, смеет так меня называть. Скажи, что «развратница» сказала: есть только один путь узнать тайну — это свидеться со мной. И пусть поторопится: находиться мне тут, в гостях у нее, уж не долго. Ступай, граф. — Она засмеялась. — Графы... Бароны... Князья... Гетманы... Действительно развратница!

— Ты должна родить.

— Почему-то очень смешно, когда это говоришь ты, и так заботливо. Я рожу. Сына. Именно сына. Потому что не люблю женщин. Я даже имя ему придумала: Александр. Я слышала, что внук Екатерины носит имя Александр. А чем внук императрицы Елизаветы хуже? Александр!

— Я умоляю тебя, забудь все это. И я клянусь: ты будешь свободна. Я добьюсь.

— Я просила: не смей меня. Передай ей: *свидание! Только мое свидание с ней!* Скажи, что оно в ее интересах. Скажи, что я знаю: она не идет, потому что кое-что услышать боится. Пусть преодолеет страх и придет!

Коломенское.

Граф Орлов и Екатерина одни в кабинете.

— Смею предположить, Ваше величество, что только личная аудиенция...

— И как вы себе это представляете, граф?

— Велите привезти ее во дворец.

— Чтоб завтра весь Петербург, а потом пол-Европы удивлялись: почему мы унизились до встречи с побродяжкой? И воображали невесть что? Нет, императрица не встречается с безродной шельмой!

— Государыня, откуда кто узнает?

— Милый друг, сразу видно, вы давно не были в России. И забыли: мы все тут держим в секрете, но почему-то все обо всем знают. И чем больше секрет, тем больше знают. Я имею возможность следить за тем, что пишут в своих тайных донесениях иностранные послы. Как только я прошу своих приближенных: «Господа, это надо держать в секрете», так тотчас читаю сей секрет в донесениях всех иностранных послов! У нас в России все секрет. И ничего не тайна.

— Отпусти ее, матушка, Христом-богом прошу. При смерти она.

Екатерина молчала.

— Отпусти ее... За службу мою!

— За службу твою я тебя наградила, граф. Но нужду государства я не забыла тоже. Нам нужно спокойствие. Я характер ее поняла: эта женщина даст нам спокойствие разве в могиле. Прощай, граф. Я знаю, ты собрался опять вернуться в Петербург. Не надобно тебе.

Он с изумлением посмотрел на императрицу.

— Здоровье у тебя неважное. Ты правду писал. Потерял здоровье на ревностной службе отечеству. Я уже давно о сем подумывала — и даже освободила твои московские дома от всяких денежных сборов. В Москве будешь жить, граф.

Орлов глядел на императрицу. Она выдержала его взгляд и прибавила:

— Брат твой как-то сказал: «Два светила у тебя, матушка: я и Алешка!» Слишком много света будет для одного Петербурга держать вас там обоих. Мы должны об украшении и другой нашей столицы подумать.

Голицын: «Кто она?!»

Князь Голицын подъехал к Петропавловской крепости. Карета въехала за стены крепости и направилась, как обычно, к Алексеевскому рavelину.

«Вчера получил от государыни лично исправленные ею доказательные статьи. В них на основании наших допросов неопровержимо доказывалось, что все письма к августейшим особам Европы, захваченные у разбойницы, изготовила она сама и сама придумала также называть себя дочерью императрицы Елизаветы. Двадцать доказательных статей лично составила матушка. Вот как удивительно волнует ее это дело... Ох-хо-хо...»

В камере — князь Голицын и Елизавета. Ушаков за своей конторкой приготовился записывать.

— Надеюсь, что вы прочли сии статьи. И, как милостиво указала государыня, они напрочь уничтожают ваши ложные выдумки. Вы приготовились к ответу?

— Да, князь, совершенно.

— Итак, статья первая...

— Не будем тратить времени, князь. У меня все те же ответы на все статьи. О рождении своем не ведаю. И наследницей престола не называлась.

— Но побойтесь Бога. Вот смотрите, пункт седьмой: «Если сличать стиль и слог упомянутой женщины со стилем и слогом писем, захваченных у нее...»

— Не тратьте времени, князь. Ответ будет все тот же.

— Но так невозможно! Невозможно! Вы лжете на каждом шагу.

— В чем же моя ложь? — открыто издеваясь, спросила Елизавета.

— Да во всем. Даже в самых мелочах. И сейчас я вам это докажу!

— Жду, и с большим интересом.

— Например, вы заявляли, что понимаете по-арабски и по-персидски и воспитывались в Персии.

— Именно так.

— Напишите несколько слов на этих известных вам с детства языках.

По знаку князя Ушаков положил перед Елизаветой лист бумаги. Она усмехнулась и быстро написала на бумаге какие-то знаки.

— А теперь пригласите господ в камеру, — приказал князь Ушакову.

Ушаков ввел в камеру двух старцев.

— Этот господин из Коллегии иностранных дел... А этот господин из

Российской Академии наук... — объявил торжественно князь принцессе. — И оба они в совершенстве владеют восточными языками.

После чего Ушаков положил перед ними бумагу, написанную принцессой.

— Что это? — обратился Голицын к ученым.

Те внимательно смотрели на бумагу и молчали.

— Это арабский или персидский? — строго спросил князь.

— Это никакой, — сказал наконец один из них, — это абракадабра.

Елизавета, усмехаясь, наблюдала всю эту сцену.

— Почему вы молчите, сударыня, и что это все значит наконец?

— Это значит, — спокойно ответила принцесса, — что спрошенные вами люди не умеют читать ни по-персидски, ни по-арабски.

— Все! Довольно! — в бешенстве поднялся Голицын. — На хлеб! На воду! И почему у нее тонкое белье в постели? Это что у нас тут — будуар или государева тюрьма?

«После того издевательства я не ходил к ней в камеру. Пусть поживет в строгих мерах: может, спеси-то поубавит! А тут еще и великие празднества подошли по случаю заключению мира с турками. Праздновать у нас умеют и любят. Я получил от государыни шпагу с бриллиантами и надписью: „За очищение Молдавии до самых Ясс“. Наши блестящие модные насмешники, конечно, шутить по сему поводу изволили. Пусть шутят. Прибаутки-то их забудутся, а шпага к вящей славе останется. Все это время она писала самые жалостливые письма...»

В углу сидят караульные. На кровати, покрытой грубым одеялом, лежит Елизавета. В камере полутьма.

Входит Голицын, за ним Ушаков. Караульные молча поднимаются, выходят.

— Принеси свечей! — приказал князь Ушакову.

— Не надо, — раздался голос с постели. — Мне не хочется, чтобы вы меня видели. Простите, что лежу: проклятый кашель изнурил... да и в моем положении ходить не просто.

Голицын уселся и сказал в темноту:

— В последний раз, сударыня. Матушка императрица надеется, что одумаетесь. И расскажете всю правду.

— Странные тут люди, — задумчиво сказала она из темноты. — Я вам искренне предлагаю... даже умоляю... разрешить мне написать в Европу моим знакомым, чтоб попытаться выяснить эту самую правду. Почему вы не даете мне возможности им написать? Чего вы боитесь? Что они

организуют мой побег? Но я никогда на это не соглашусь. Этого не позволит моя честь. И главное... почему ваша государыня не хочет поговорить со мной? Почему меня все время смеют упрекать во лжи и хитрости? Если б была хитра, разве поддалась бы я так слепо воле графа? Он! Он ввергнул меня в погибель! — Она кричала.

— Вы уже говорили все это, сударыня.

— Ах, князь, опять вы начинаете сердиться. Мне всегда больно, когда сердятся люди, которых я люблю. Поверьте, мое доверие к вам не имеет пределов. И в доказательство я хочу просить вас передать письмо императрице.

— Опять!

— Да вы не бойтесь, вы уже выучили меня писать вашей государыне, — засмеялась она в темноте и начала читать письмо: — «Ваше императорское величество, находясь при смерти у ног Вашего величества, излагаю я в объятиях смерти плачевную мою участь. Мое положение таково, что природа содрогается. Я умоляю Ваше величество... — Она помедлила и продолжала: — *Во имя вас самих* благоволите оказать милость и *выслушать меня*. Да смягчит Господь ваше великодушнейшее сердце, и я посвящу остаток моей жизни вашему высочайшему благополучию и службе вам. Остаюсь нижайшая, послушная и покорная, с преданностью, к услугам».

Она замолчала и протянула письмо из темноты. Голицын торопливо взглянул на письмо. Там не было ни подписи, ни даты.

«Слава тебе господи! Хоть этому тебя действительно научили, голубушка!»

— А что значит сие: «*Во имя вас самих* благоволите выслушать»?

— Это то самое и значит, князь: «*Во имя вас самих*», — твердо и жестко ответил голос с кровати.

— Да, письмо не много лучше предыдущих. Дерзости по-прежнему... — Он вздохнул и поднялся.

— Ах, князь, как удалось вам сохранить доброе сердце? Бог благословит вас и всех, кто вам дорог, но помогите мне. Я изнемогаю. День и ночь в моей камере эти люди. Это при нынешнем-то моем положении. И главное: не с кем словом перемолвиться. Они не понимают меня. И эта страшная болезнь...

Добрейший князь только махнул рукой и вышел из камеры. У дверей камеры уже ждал его обер-комендант крепости.

— Вернуть хорошую пищу... Вывести людей... И вернуть камер-

фрау! — не дожидаясь приказа, находчиво отпрапортовал комендант.

Коломенское. Девять часов утра.

В кабинете императрица и князь Вяземский.

— Князь Александр Михайлович Голицын пишет, что она при смерти, — сказал Вяземский.

— Донесения князя напоминают стихи, — усмехнулась императрица. — Как он там написал? «Она возбуждает в людях доверие и даже благоговение», — усмехнулась императрица. — Это о бесстыжей беременной развратнице!.. Но пока он сочиняет эти стихи, дело не движется. Вместо раскаяния нам предлагают пустые просьбы от наглой бестии.

Пусть князь объяснит ей в последний раз: никогда я с ней не встречусь. Кстати, коль она так больна и, как он пишет, «в объятиях смерти», пусть князь уговорит ее причаститься. — Императрица посмотрела на Вяземского.

— Послать к ней духовника и дать приказ, чтоб тот духовник довел ее увещеваниями до полного раскрытия тайны. О нижеследующем донести немедленно с курьером, — тотчас сформулировал Вяземский.

«Слава богу, хоть этот не поэт!» — усмехнулась Екатерина.

В кабинете Голицына Ушаков докладывал князю:

— В Казанском соборе нашли. Священник Петр Андреев. Он и по-немецки, и по-французски понимает.

— Присягу заставь принять о строжайшем соблюдении тайны и ко мне завтра позови.

Вошел камердинер и объявил:

— Курьер из Москвы от императрицы...

Голицын сидел за столом с письмом императрицы в руках.

«Который день подряд занимается матушка сим делом...»

Голицын, бормоча, с изумлением читал письмо:

— «Не надо посылать к ней никакого священника и более не надо допрашивать развратную лгунью. Вместо того предложить поляку Доманскому рассказать всю правду. И коли он правду расскажет о бесстыдстве сей женщины, присвоившей себе царское имя, разрешить ему обвенчаться с ней. После чего, — с величайшим удивлением прочитал князь, — дать дозволение *немедля увезти ее в отечество, чем и закончить все дело*. Добейтесь от нее согласия обвенчаться с поляком, чтобы раз и

навсегда положить конец и будущим возможным обманам».

Князь торопливо позвонил в колокольчик. Вновь появился камердинер.

— Закладывать в крепость, — приказал князь. И добавил, обращаясь к Ушакову: — Смиловилась над разбойницей матушка!

Он продолжал дочитывать письмо:

— «Коли не захочет бессовестная лгунья венчаться с Доманским, пусть сама откроет бесстыдную свою ложь. И, как только откроет, что бессовестно присвоила себе чужое имя, дать ей незамедлительно возможность возвратиться в Оберштейн и восстановить свои отношения с князем Лимбургом. Коли упорствовать будет и предложение сие не примет, объявить ей вечное заточение. Сии предложения от себя делайте, а имя наше ведомо ей быть недолжно».

Потрясенный Голицын садился в карету, изумленно бормоча:

— Это что же такое? Полное помилование?!

Приехав в крепость, князь пришел в камеру Доманского.

Елизавета по-прежнему лежала в темноте на кровати. Теперь в камере не было караульных. Рядом с кроватью молча сидела камеристка Франциска, когда торопливо вошел князь. Он был один, без Ушакова. По знаку князя камеристка вышла из камеры.

— Хоть вы по-прежнему бессовестно запирались, но радуйтесь! Я принес вам необычайное известие.

— Я слушаю вас, князь, — равнодушно ответили из темноты.

— Свatom себя чувствую, — засмеялся князь. — Сейчас сюда приведут приближенного вашего Михаила Доманского. Он безмерно любит вас, и он просит вашей руки.

— Вы с ума сошли, — зашептали с кровати.

— Я удаляюсь, — продолжал князь. — И пусть камер-фрау подготовит вас...

— Не надо. Я достаточно уверена в себе, князь, чтобы принять его в обычном виде.

Ушаков и солдаты уже вносили в камеру свечи.

Она уселась на постели и, усмехаясь, глядела на дверь. В камеру ввели Доманского. Он с испугом, почти с ужасом смотрел на исхудалое темное лицо.

И она глядела на него.

«Как она на него смотрит. Клянусь, вовек не видел такой нежности... Кажется, дело сделано!»

— Итак, вам предлагают свободу и возможность немедленно повенчаться, — торжествовал Голицын, предвкушая развязку — После чего вы оба получаете право возвратиться в отечество господина Доманского. Конечно, при условии, что вы тотчас сообщите следствию тайну вашей лжи, сударыня. Все будет исполнено в точности, мое вам слово!

— Я правильно поняла вас, князь? Мы получаем свободу, коли я соглашусь признать себя дочерью трактирщика, булочника или чем-то там еще?

Доманский напряженно ждал ее ответа. Ушаков приготовился записывать. Она все с той же невыразимой нежностью смотрела на поляка.

— Вы и так получите свободу, мой друг, — тихо сказала она Доманскому. — Я вам ее обещаю. Свободу без моих лжесвидетельств... — И обратилась к князю: — А сейчас уведите его!

— Простите меня за мои показания, Ваше высочество. Я просто хотел... — начал Доманский.

Она усмехнулась:

— Я вас прощаю. — И почти крикнула: — Уведите!

Измученный князь приказал солдатам:

— Уведите!

Доманского увели. Она смотрела, как он уходил в открывшуюся дверь камеры. Когда дверь захлопнулась, она начала хохотать. Она хохотала во все горло.

— Ох, князь, вы представляете меня замужем за этим несчастным, необразованным, жалким человеком?

— Но он красив... — беспомощно начал князь.

— Он недостаточно красив, чтобы обменять смерть дочери императрицы на жалкую жизнь госпожи Доманской.

— Хорошо. Тогда последнее предложение... — безнадежно сказал князь и добавил строго: — Но запомните, последнее!

Она молча глядела на него.

— Вы сами расскажете правду...

— Правдой вы называете то, что хотела бы услышать от меня императрица?

Князь будто не слышал.

— И за это вы получите возможность тотчас вернуться в Оберштейн и стать женой Лимбурга.

— Вы уверены, что он возьмет в жены признавшуюся лгунью? Хотя это досужий вопрос, ибо я сейчас думаю уже о другом женихе. И я приду к нему тем, кем была: дочерью русской императрицы. Передайте вашей

государыне, — хрипло засмеялась она, — что ей остается только одно — увидеть меня. И пусть поторопится, а то жених уже поджидает.

Она закашлялась. Кашляла долго. Потом вытерла кровь и насмешливо посмотрела на князя.

— Я исчерпал все, сударыня. И милосердию есть предел... — И он начал торжественно: — Как нераскаявшаяся преступница, вы осуждаетесь на вечное заточение в крепости.

— Вечным, князь, ничего не бывает. Даже заточение.

— И никакого духовника за постоянную вашу ложь к вам не пришлют. Умрете как жили — лгуньей.

— Не пришлют — и не надо, — сказала она и равнодушно повернулась к стене.

Ушаков и солдаты уносили свечи. Голицын тяжело встал и пошел за ними к дверям камеры.

— Итак, я жду ее, — сказали ему вслед из темноты.

Из донесения князя А.М. Голицына императрице Екатерине, августа 12 дня 1775 года: «Лживое упорство, каковое показала она, когда ни сама, ни Доманский не прибавили ни слова к данным прежде показаниям, хотя предоставлены им были высшие из земных благ: ему — обладание прекрасной женщиной, в которую он влюблен до безумия, ей — свобода и возвращение в графство свое Оберштейн... Из показаний ясно видно, что она бесстыдна, бессовестна, лжива и зла до крайности и никакими строгими мерами нельзя привести ее к раскрытию нужной истины».

Голицын закончил донесение императрице.

«С тех пор я более никогда не видел ее живой. В крепость я не ездил. Дел у меня и без того — весь Санкт-Петербург. А тут и хлопоты с детьми — дочь в свет вывозить. Ох, эта трудная комиссия: выдавать замуж!...»

Остается поверить, что деятельнейшая из русских императриц, у которой хватало времени писать пьесы и прозу, сочинять бесконечные письма и по десять часов в сутки заниматься государственными делами, отказалась откликнуться на призыв таинственной женщины, желавшей поведать ей свою тайну Женщины, которую по ее приказу везла в Петербург целая эскадра. Женщины, которую ежедневно допрашивал сам генерал-губернатор Санкт-Петербурга, расследованием дела которой на протяжении двух месяцев руководила она самолично и с такой страстью...

И вот эта женщина готова сама сообщить ей при встрече то, чего она тщетно добивалась на протяжении месяцев. И Екатерина отказывается. И объясняет, что личная встреча с «побродяжкой» унижит ее! И это в России,

где царь столь часто был верховным следователем, где Иван Грозный, и Петр, и Николай лично встречались со своими жертвами... Тем более что «побродяжка»-то была отнюдь не по-бродяжка, но невеста немецкого князя, кстати, куда более родовитого, чем сама Екатерина!

Не верится! Совсем не верится! А может быть, все-таки встретились? И может, узнала императрица на этой встрече то, что узнать не хотела, то, что узнать боялась? И оттого с таким упорством объявляла потом: «Встречи не было».

Во всяком случае, мы можем определить дату возможной встречи. Это произошло сразу после 12 августа. Именно тогда, когда внезапно помягчал режим и вдруг прекратились и допросы арестантки, и ежедневные инструкции Голицыну.

«Прошел сентябрь, октябрь и ноябрь... Из Москвы меня не тревожили более инструкциями, к изумлению моему. В конце ноября вывез я как-то свое потомство на бал...»

Бал в Зимнем дворце.

Слуга у подъезда объявил:

— Карету князя Голицына!

По лестнице тяжело спускается князь. Его догоняет сухопарый господин в орденах — граф Сольмс, посланник прусского короля Фридриха.

— Всегда стараюсь, Ваше сиятельство, — расцвел улыбками обходительный Сольмс, — получать сведения из первых рук!

Голицын, милостиво улыбаясь, приготовился выслушать вопрос посланника.

— В Петербурге говорят, что привезенная Грейгом принцесса на днях родила в Петропавловской крепости сына графу Орлову. Сие пикантное обстоятельство нас интересует, потому что принцесса считалась невестой одного из владетельных немецких князей.

«Ох-хо-хо... Вот так-то у нас: я не знаю, а они все знают, басурманы... Я узнал о сем только сегодня утром... из перлюстрированного донесения саксонского посланника».

Из донесения посланника Саксонскому двору: «В Петербурге говорят, что привезенная Грейгом принцесса, находясь в Петропавловской крепости, 27 ноября родила графу Орлову сына, которого крестили генерал-прокурор князь Вяземский и жена коменданта крепости Андрея Григорьевича Чернышева. И получил он имя Александр, а прозвище

Чесменский, и был тотчас перевезен в Москву в дом графа».

«Ох-хо-хо...»

Голицын обращается к посланнику:

— Смею вас уверить, что это досужие выдумки и сплетни, никакой почвы под собой не имеющие, господин посол. Насколько мне известно, никакой принцессы в крепости не содержится.

— Я так и думал, — улыбнулся Сольмс, — но вчера вечером за картами прошел слух, что сам граф Орлов после всех милостей, которыми был столь щедро осыпан, вдруг подал в отставку. Не могут ли быть связаны эти события? — совсем благодушно спросил Сольмс, но глаза его горели.

— Это столь же безответственные слухи, — спокойно сказал князь.

— Как странно! — совсем наивно продолжал Сольмс. — А у меня сейчас в руках вот такой текст. Не желаете? — И он начал читать, поглядывая на князя насмешливыми глазами: — «Всемиловитейшая государыня, во время счастливого государствования Вашего службу мою продолжал, сколько сил и возможностей было. А сейчас пришел в несостояние и расстройство здоровья. Не находя себя более способным, принужден пасть к освященным стопам... — и так далее, — и просить увольнение в вечную отставку». Это письмо вчера нам всем прочел вслух сам Григорий Потемкин.

И Сольмс уставился на Голицына.

— Ну, вот видите, сам вам все и объяснил, — сказал, добро улыбаясь, Голицын.

— Спасибо за откровенность, князь, — продолжал Сольмс, — я лишь хотел удостовериться, что и для вас отставка чесменского героя — такая же великая неожиданность...

Голицын вышел из дворца, уселся в карету, приказал:

— В крепость, милейший!

Карета ехала по ночному Петербургу.

«Значит, не известили! А может, не сочли нужным? Но почему? А если почему-то... Ведь сам обер-прокурор... А может, не надо мешаться? Дело-то уж очень странное! Ох-хо-хо...»

Голицын высунулся из кареты и приказал:

— Давай-ка домой, любезнейший!

Карета разворачивается и через мост направляется обратно на Невский, ко дворцу князя.

Голицын продолжал размышлять во тьме кареты. «Не наше дело...

Одно только знаю: у чахоточных, когда от бремени освобождаются, болезнь ох как быстро побеждает! Так что вскорости надо ждать... Ох-хо-хо!»

...5 декабря 1775 года. Раннее морозное утро.

В своей опочивальне князь Голицын еще спал, когда камердинер со вздохами, почтительно разбудил его:

— Ваше сиятельство... Из крепости обер-комендант дожидается!

Князь в халате торопливо выходит в приемную. Здесь его ждет комендант Петропавловской крепости Чернышев.

— Кончается... Священника просит.

Голицын задумался. Походил по приемной.

«Ох, чувствую, не надо! Да как откажешь в такой-то просьбе? Ну что ж, будем все исполнять по прежней инструкции матушки».

— Позовешь к ней Петра Андреева, священника из Казанского собора... Сначала к присяге его приведи о строжайшем соблюдении тайны, ну а потом... я сам с ним поговорю.

Князь позвонил в колокольчик и сказал вошедшему слуге:

— Закладывать. В крепость!

Был уже седьмой час вечера. В Петропавловской крепости в комнате коменданта сидел князь Голицын. И ждал.

У дверей камеры Елизаветы прохаживался обер-комендант Чернышев. И тоже ждал.

Наконец дверь камеры открылась. И вышел молодой священник. Комендант взглянул на него и только перекрестился.

В комнате коменданта крепости по-прежнему сидел князь Голицын. Чернышев молча ввел священника.

Голицын вопросительно посмотрел: священник тихо наклонил голову.

— Отошла, — прошептал князь. — Ну и что... что сказала?

Священник глядел на князя кроткими печальными глазами.

— Что огорчала Бога греховной жизнью... жила в телесной нечистоте... и ощущает себя великой грешницей, живя противно заповедям Божьим... Господи, спаси ее душу!

— А соучастники... а преступные замыслы? — растерянно спросил князь.

Священник молча смотрел на него.

— Значит, это все, что я должен передать государыне?

— Это все, что я имею сказать вам, князь.

Священник все так же кротко смотрел на князя.

«Я хотел накричать на него: как он дерзнул не выполнить матушкину волю?! Я уж было рот раскрыл... Но мне почему-то стало страшно. От глаз его...»

— Благослови тебя Бог, Александр Михайлович, — тихо сказал священник. И вышел.

Голицын сидел один в комендантской. Куранты на крепости пробили семь.

«Я вспомнил, как впервые вошел к ней... было тоже семь часов пополудни...» Он тяжело поднялся с кресел.

Голицын вошел в ее камеру.

Она лежала на кровати: руки скрещены на груди. Горела свеча.

Голицын долго смотрел на ее лицо, спокойное, прекрасное и совсем юное... На застывших губах — тихая улыбка... Да-да, улыбка...

За спиной слышались шаги коменданта.

Но Голицын, не оборачиваясь, завороченно глядел на эту таинственную улыбку.

Наконец хрипло приказал коменданту:

— В рavelине похоронить. Сегодня же ночью. Хоронить должна та же команда, которая охраняла ее. И крепко предупреди их о присяге. Чтоб навсегда молчали, олухи...

Утром следующего дня в Петербурге шел снег. Все засыпано снегом у Алексеевскою рavelина. Князь Голицын стоял посреди ровного снежного поля. Рядом с ним — комендант Чернышев.

— С землею сровняли. Все как повелели. Здесь она. — Комендант указал на ровное белое поле.

Голицын молча глядел на белое пространство перед собой. Потом вздохнул, перекрестился и пошел прочь по двору крепости.

К новому, 1776 году двор вернулся в Санкт-Петербург.

В девять часов утра в кабинете императрицы в Зимнем дворце были с докладом Вяземский и Голицын.

— И ничего не сказала на исповеди? — Екатерина внимательно поглядела на князя Голицына.

— Точно так, Ваше величество! Умерла нераскаявшейся грешницей.

— Бесстыдная была женщина... Но мы зла не помним. Пусть будет ей

царствие небесное. Кстати, этот Петр Андреев — священник очень строгих правил. И нечего ему в нашем суетном Санкт-Петербурге делать. Пусть Синод распорядится, отошлет его в обитель подалее. Там и люди чище, и жизнь светлее.

Вяземский поклонился и записал.

— Что остальные заключенные? — спросила Екатерина.

— По-прежнему содержатся в строгости под караулом, — ответил Голицын.

— А нужно ли сие? — благодетельно улыбаясь, вдруг спросила императрица. — Всклепавшая на себя чужое имя мертва. Стоит ли держать в заточении людей, введенных ею в заблуждение?

И она благостно взглянула на Вяземского.

— Ну, во-первых, нельзя доказать участие Черномского и Доманского в ее преступных замыслах, — тотчас начал все понявший Вяземский.

— Вот именно, — милостиво сказала Екатерина. — Действовали по легкомыслию. Да к тому же пагубная страсть молодого человека многое извиняет. Ах, эта любовь, господи!

Оба князя с готовностью закивали.

«Столько предосторожностей, секретностей — и вдруг выпустить всех этих людей, знающих столько, в Европу?! Но почему? Что случилось?» — в изумлении думал Голицын.

— Я думаю, следует взять с них обет вечного молчания. Дать им по сто рублей и отпустить в отечество... У вас иное мнение, господи?

Оба князя закивали, показывая, что у них то же самое мнение.

— Да, еще... Остаются ее камер-фрау и слуги. — И она посмотрела на Вяземского.

— Я читал показания камер-фрау, — с готовностью начал Вяземский. — Умственно слабая женщина. К тому же не доказано ее сообщничество с умершей авантюрой. Кроме того, говорят, бедняжка не получала от нее давно никакого жалованья...

— Отдать ей старые вещи покойницы, выдать сто пятьдесят рублей на дорогу. Отвезти немедленно в Ригу и отправить в отечество, — сказала императрица.

«Ну и ну! Будто завещание чье-то читает...» — сказал себе Голицын.

— Всем остальным слугам, — продолжала все так же милостиво Екатерина, — выдать по пятьдесят рублей. И доставить их до границы, предварительно взяв с них обет вечного молчания. Все это оформить в

указ, господи.

«Хорош будет указ!.. Столько допросов, присяг, предосторожностей — и всех выпустить в Европу... Ничего не могу понять!»

— У вас другое мнение, князь? — обратилась к Голицыну Екатерина.

— Ваше императорское величество поступили, как всегда, милосердно и мудро. Я думаю, все указанные лица и дети их будут до смерти молить Бога за здоровье Вашего величества.

— Ну вот... Что еще? — Она посмотрела на Вяземского.

— Прощение графа Алексея Григорьевича Орлова об отставке, — печально ответил Вяземский.

— Заготовьте указ Военной коллегии, изъявив ему наше благоволение за столь важные труды и подвиги его в прошедшей войне, коими он благоугодил нам и прославил отечество... Мы всемилостивейше снисходим к его просьбе и увольняем его в вечную отставку. И пусть Григорий Александрович Потемкин сам подпишет. Сие будет приятно обоим: они ведь давние друзья.

В Петропавловской крепости.

В камере Елизаветы — ворох платьев. Платья разбросаны повсюду — на кровати, где недавно она лежала, на полу.

Ушаков стоял посреди моря туалетов с описью в руках, а Франциска фон Мештеде придиричиво рылась в вещах принцессы.

— А где палевая робронда с белой выкладкой?

— Что по описи было, то и отдаем, — терпеливо бубнит доведенный до изнеможения Ушаков.

Наконец она отыскала робронду.

И тотчас новый вопрос:

— А две розовые мантильи? Одна была атласная... я хорошо ее помню... И кофточка к ней была тафтяная розовая...

— Что по описи было, то и отдаем...

Госпожа Франциска фон Мештеде выехала в Ригу в январе 1776 года, откуда благополучно прибыла в свое отечество — в Пруссию.

В марте 1776 года покинули Россию Черномский, Доманский и слуга Ян Рихтер.

Князь Лимбург благополучно женился и дожил до глубокой старости, окруженный бесконечным потомством.

Князь Радзивилл помирился с Екатериной, с королем Понятовским и преспокойно доживал век в своем Несвиже, по-прежнему поражая гостей и

соседей своими выходками. Как-то жарким летом он объявил гостям, что завтра пойдет снег. И наутро проснувшиеся гости с изумлением наблюдали из окон... белые луга. Это бесчисленные слуги князя всю ночь посыпали траву дорогой тогда солью.

Гетман Огинский тоже прекратил вражду свою с Екатериной и королем — теперь он мирно строил свой знаменитый канал.

И все они забыли о той женщине...

В Петропавловской крепости росла высокая трава там, где когда-то зарыли гроб с телом «известной особы».

Шли годы. История эта стала забываться, когда в Ивановском монастыре в Москве появилась удивительная монахиня...

Опять несколько дат

Много лет спустя, уже в середине XIX века, старый причетник Ивановского монастыря рассказывал археологу и историку И.М. Снегиреву о той монахине:

— Был я тогда мальцом. Игуменья Елизавета меня любила, и в келье у нее я часто находился. Был я как раз в ее покоях, когда она вела тот разговор...

1784 год, декабрь.

Покои настоятельницы в Ивановском монастыре.

В углу кельи, у печки, сидел мальчик-причетник и подбрасывал дрова в огонь. Эконом монастыря и игуменья мать Елизавета беседовали.

— Келью ей поставишь каменную, — говорила игуменья, — и чтоб видать было из моих окон.

— Значит, у восточной стены, против ваших покоев и поставим, — отвечал эконом.

— Келью с изразцовой печью, и две комнаты, и с прихожей для келейницы — прислуживать ей. Окна сделай маленькие, и чтоб занавеска всегда на них была. И служителя приставишь — отгонять любопытных от окон.

Игуменья помолчала, посмотрела в огонь и продолжала:

— От той кельи устроишь лестницу крытую прямо в надвратную церковь, чтоб ходила она молиться скрытно от глаз людских... Когда молиться будет — церковь на запоре держать... В общей трапезе участвовать она не будет, стол ей положишь особый: обильный да изысканный. К нашей еде она не приучена. Чай, догадываешься, чьи повеления передаю?

— Когда ждать-то новую сестру?

— К началу года келью поставишь. Говорят, матушка государыня в это время в Москву пожалует.

— А как кличут новую сестру?

— Досифея. Да тебе ни к чему, потому что говорить с новой сестрою никому не следует... Ну, ступай, отец, ночь на дворе.

И сейчас в Москве сохранились башни и стены древнего Ивановского женского монастыря. Как писалось в старых книгах: «Девичь монастырь расположен в старых садах под бором, что на Кулишках, против церкви

Святого Владимира».

Давно нет ни садов, ни того бора, ни прекрасного названия Кулишки, но остались, как дивное видение, белая церковь Святого Владимира на холме и руины заброшенного монастыря в кривом московском переулке.

В лунные ночи грозно темнеют башни и тяжелый купол собора древней обители. Столь древней, что в 1763 году в описи монастыря глухо сказано: «А когда оный монастырь построен и при котором государе, точного известия нет».

Основание Ивановского женского монастыря приписывают Ивану Третьему и матери царя Ивана Грозного Елене Глинской. Знаменит был монастырь богатыми вкладами. Особенно заботилась и украшала святую обитель богомольная императрица Елизавета. Она предназначала монастырь «для призрения вдов и сирот заслуженных людей».

В ту суровую эпоху Ивановский монастырь был обителью, и крепостью, и местом заключения. Эти стены видели разведенных цариц, насильно постриженных в монахини, раскольниц и страшную Салтычиху, изуверку помещицу, прозванную народом людоедкой. В описываемое нами время она была заточена здесь в темном склепе, под соборной церковью, в полном мраке. И свечу ей вносили, только когда подавали пищу...

1785 год, февраль.

В покоях настоятельницы монастыря сидела новая монахиня. Плат до бровей скрывал исхудавшее прекрасное лицо, монашеское одеяние прятало стройное тело.

Скрипнула дверь — вошел мальчик-причетник с дровами. Новая монахиня вздрогнула, втянула голову в плечи.

— Ты что пугаешься при каждом шорохе? — ласково сказала игуменья Елизавета. — У нас, слава богу, бояться тебе нечего. Тут покойно. Время свое проводить будешь в рукоделии, в чтении книг душеспасительных. Библиотека у нас древняя, знаменитая... Ну, а если какие светские книги захочешь, мне скажешь — принесем. Но, думаю, в миру ты их вдоволь начиталась. И еще: коли просьбицы какие — ко мне иди, с людьми не знайся, сестрица, людей избегай. Сама, чай, знаешь, чье это установление! — вздохнула игуменья.

— Была она среднего роста, худощава станом и, видать, прежде была красавица. На содержание ее большие суммы отпускались из казначейства. Она их на милостыню нищим тратила. И никто никогда не слышал от нее ни слова — обет молчания, говорили, взяла, — рассказывал причетник. — Спина в черном одеянии — над книгой... Вот и все, что мы видели... И так

четверть века слова от нее не слыхивали... Потом умерла государыня Екатерина. Вышло ей послабление — важные особы к ней приезжали и наедине с ней виделись. Но она по-прежнему молчала. А преставилась она зимой — февраль был, мороз. Год, как помню, 1810-й. Слух по монастырю пронесся: померла Досифея, царство ей небесное. И начались тут дивные дела... Хоронили всех наших инокинь у нас, в Ивановском. А ее понесли через всю Москву хоронить в Новоспасский монастырь — в древнюю усыпальницу царского рода.

Величавые стены, башни и громада собора знаменитого Новоспасского монастыря. Зажаты между новыми домами руины когда-то великой обители... Здесь, в Новоспасском, в древней усыпальнице хоронили бояр Романовых, пока не сели они на царство. Здесь, в подклети Спасо-Преображенского собора, лежали кости тех, чьи имена гремели в отечественной истории: ближайших родственников Романовых — бояр Оболенских, Ситских, Трубецких, Ярославских, Нарышкиных, Куракиных...

Февраль 1810 года.

Во дворе Новоспасского монастыря — толпы народа.

В парадных мундирах, лентах, орденах выстроилась вся московская знать...

— Сам главнокомандующий Москвы, жена его Прасковья Кирилловна, урожденная Разумовская, приехала. Да что говорить... Все при параде, как положено, когда особу царской крови хоронят. Митрополит Платон был тяжело болен — викария своего епископа Дмитровского Августина послал в сослужии со всем старшим московским духовенством. Вот так удивительно простую инокиню хоронили. Если могилку ее навестить захотите — под номером 122 она. Слева от колокольни, у восточной ограды...

«Я записал весь рассказ старика, — сообщил потом Снегирев. — И не раз видел эту могилку. На диком надгробном камне была надпись: „Под сим камнем положено тело усопшей о Господе монахини Досифеи обители Ивановского монастыря, подвизавшейся о Христе Иисусе в монашестве 25 лет и скончавшейся февраля 4 дни 1810 года. Всего ее жития было 64 года. Боже, всели ея в вечных твоих обителях“».

Я узнал, что существовал и портрет ее, содержащийся в настоятельских кельях Новоспасского монастыря.

Портрет писан на полотне десять с половиной вершков. На задней стороне его идет надпись: «Принцесса Августа Тараканова, в иноцех

Досифея, постриженная в московском Ивановском монастыре, где по многих летах праведной жизни скончалась и погребена в Новоспасском монастыре».

Портрет этот был выставлен для широкой публики на любительской выставке в Москве в 1868 году и многократно репродуцировался.

В начале нашего века над могилой Досифеи поставили часовню. И сегодня во дворе Новоспасского монастыря среди постыдной разрухи осталась эта полуразрушенная часовенка — слева от колокольни у восточной стены. Превращены в руины настоятельские кельи, исчезли надгробные плиты, исчез портрет монахини. Но загадочное лицо ее смотрит на нас с репродукции этого портрета. И стоит часовенка над ее таинственной могилой, каким-то чудом уцелевшая...

Февраль 1810 года. В московском доме несколько молодых офицеров играли в карты. После карт, как обычно, сели ужинать. За шампанским разговор пошел, конечно, вокруг удивительных похорон.

— А знаете ли вы, — начал один из молодых людей, — что граф Орлов никогда не ездил около Ивановского монастыря? Я это доподлинно знаю. В тот год я безуспешно волочился за графиней Анной и слыхивал, что граф Алексей Григорьевич повелел своему кучеру за версту объезжать Ивановский монастырь. И вот как-то его новый кучер, который сего повеления не знал, повез графа мимо монастыря, за что пороли несчастного до полусмерти.

— Но что поразительно, господа, — подхватил другой молодой офицер, — говорят, она совершенно молчала целых двадцать пять лет.

— А вот тут я с вами не согласен, — вступил в разговор третий. — Моя кузина Варенька Головина все эти годы воспитывалась в Ивановском монастыре. И на днях кое-что поведала мне: оказалось, покойная монахиня сильно ее отличала и совсем незадолго до смерти рассказала ей удивительную историю.

Впоследствии эта история будет опубликована в 1865 году в журнале «Современная летопись» неким господином Самгиным, внуком Головиной.

— Варенька сказала, что монахиня поведала ей эту историю очень странно... как бы не о себе. Но при том она говорила так, что не оставалось сомнений, что рассказывала она о себе... Дескать, жила-была одна девица, дочь знатных родителей, и воспитывалась она далеко за морем, в теплой стране. Образование она получила блестящее и жила в роскоши и неге. Один раз пришли к ней гости, в их числе важный русский генерал. Генерал

этот и предложил ей покататься в шлюпке по взморью. Поехала она с ним... А как вышли в море, там стоял русский корабль. Он и предложил ей взойти. Она согласилась, а как вошла на корабль, силой отвели ее в каюту да часовых приставили... — Он помолчал. — Теперь вы поняли, почему граф Орлов объезжал за версту монастырь? — с торжеством спросил рассказчик.

— Так что же выходит, господа, — монахиня была та самая женщина, которую граф захватил когда-то в Италии?

— И значит, эта женщина была не самозванка? — восторженно воскликнул другой офицер.

— Это все досужие разговоры, господа. Сия монахиня никакого отношения к той женщине не имеет, — решительно начал новый рассказчик. — Я доподлинно знаю. Мой дядя, Александр Михайлович Голицын, лично ее в крепости допрашивал. Да и отцу моему рассказывал, как в камеру к ней вошли, когда она уже была мертвая. И как сам распорядился зарыть ее в землю.

— Не горячись, Голицын. Будто мы не знаем, как у нас в России такие дела делаются. Одну вывезли тайно, а схоронили совсем другую. Сколько раз сие было.

— Нет, нет. Князь Александр Михайлович много рассказывал о той женщине. Господа, это была страстная натура! До такой степени страстная, что я влюбился в нее по его рассказам. Нет, не похожа она была на эту безгласную тень...

— Отнюдь не безгласная! Я слышал ее голос, господа, клянусь, — вступил последний из собравшихся. — В тот год я только поступил в полк и сильно повесничал. И как прослышал о безгласной монахине, тотчас заключил пари. Я подкупил сторожа, который ее караулил, выждал час, когда все собрались на богослужение... и подкрался к окну кельи. И вдруг из-за занавесок я услышал нежный тихий голос: «Зачем вы хотите нарушить мой покой?» Ах, какой это был голос, господа! Мольба, страдание, благородство... И я бежал, бежал от окна...

— Так все-таки, господа: кто же она была?

Вот такие разговоры ходили по Москве в февральскую зиму 1810 года.

Тайна Княжны Таракановой: Версия

*У восточной стены
полевую сторону
колокольни стоит
маленькая часовня.
Здесь в 1810 году была
похоронена дочь
императрицы
Елизаветы Петровны
— Августа (Тараканова)
...*

*К. Морозов
Новоспасский
монастырь в Москве*

Итак, мы возвращаемся обратно, в 1775 год, когда все наши действующие лица живы. Еще живы. 1775 год, август. Петропавловская крепость.

В камере Елизаветы князь Голицын закончил тот самый последний допрос.

— Как нераскаявшаяся преступница, вы осуждаетесь на вечное заточение...

Через некоторое время он вышел из камеры.

Коломенское, шесть двадцать утра.

Императрица уже в своем кабинете. Окно распахнуто, в кресле, как всегда, расположилась английская левретка, смотрит в открытое окно и лает, завидев на реке движущуюся лодку.

Екатерина работает.

«Как был приятен для меня конец этого года. У сына в марте должен был появиться первенец. Я ждала мальчика. Ибо тогда сразу упрочится положение династии. И мое положение. Хотя, не скрою, эта бестия в крепости... меня тревожила. Я понимала, что она должна умереть со дня на день. И тогда — тайна навсегда... А она все время требовала встречи. Мне надо было с кем-то посоветоваться. Но мой друг... соколик... сударушка...

душа моя... (Так государыня именovala Григория Александровича Потемкина.) По случаю мира с турками я наградила соколика графским достоинством. Ближе его сейчас никого нет... Но посоветоваться с ним в этом деле нельзя. В последнее время он стал положительно несносен. Как когда-то у Григория (у Орлова)... у него появилась идея во что бы то ни стало жениться на мне. Этот безумец решил стать государем. И надо отдать ему должное: он умеет устраивать зрелища. Когда я была в Москве...»

— Навестить тебе надо, матушка, Троице-Сергиеву лавру, — говорит фаворит.

«Я люблю русскую церковь, люблю разное облачение священников и такое чистое, безорганное человеческое пение... И я с радостью вняла призыву соколика».

Она идет по двору Троице-Сергиевой лавры, когда неожиданно ее окружает толпа монахов.

— В блуде живешь!..

— Покайся, государыня! Помни, что Иоанн Богослов сказал: «Беги тех, кто хочет совместить внебрачную и брачную жизнь. Ибо примешивают они к меду желчь и к вину грязь».

— Освяти жизнь таинством брака, государыня!

И расступаются монахи — Потемкин, огромный, страшный, в рясе, падает перед ней на колени.

— Во грехе не могу жить более! В монастырь уйду!

— Если хотите вонзить кинжал в сердце вашей подруги... Но такой план не делает чести ни уму вашему, ни сердцу.

Екатерина заплакала.

«Слезы могли быть единственным ответом на сию дикую сцену. Но я поняла, что придется что-то делать. Мне надобно было показать, что он отнюдь не всесилен. Было два выхода обуздать этого забавного безумца. Удалить его вообще — но он мне нужен, мне нужна эта беспощадная, страшная мужская воля. О, если б я была женщиной!.. Оставалось второе — удалить его из опочивальни. Это, конечно, жаль, ибо сей господин — самый презабавный чудака, которого я видела в наш железный век... Короче, советовать с ним сейчас в деликатных вопросах касательно женщины, именующей себя плодом тайной любви императрицы с фаворитом, означало родить новые сцены... А я устала от прежних. Так что, как всегда, пришлось...»

Она позвонила в колокольчик. И появился тот молодой красавец — новый секретарь Петр Васильевич Завадовский. — Князя Вяземского

пригласите ко мне. Завадовский восторженно смотрит на императрицу, будто не слыша приказания.

«Конечно, он ничтожен, да прелесть! Что делать... Григория Александровича придется удалить из опочивальни».

— Я прошу вас, Петр Васильевич, душа моя, — совсем нежно повторяет Екатерина Завадовскому, — попросить ко мне князя.

В кабинете князь Вяземский и Екатерина.

— Какие новости из Петербурга об известной женщине?

Князь внимательно глядит на императрицу:

— Жить ей осталось недолго, как пишет в своем последнем донесении князь Александр Михайлович.

— Но не могу же я с ней встретиться?.. — вдруг говорит императрица.

Князь, как всегда, понимает.

— Вы должны с ней встретиться.

— Нет, нет, не уговаривайте, это невозможно!

— Ваше величество, я ваш преданный раб, но я смею настаивать на встрече с известной женщиной.

«Это самое в нем ценное — он всегда настаивает на том, чего хочу я сама».

— Если я на это соглашусь... вы знаете наш двор... это стая борзых. Нигде в мире нет таких сплетников. Немедля распространятся слухи, что сия авантюра что-то из себя представляет.

— Никаких слухов не будет, покуда вы в Москве. Именно потому я настаиваю на этой встрече сейчас. Мы сообщим о вашем легком нездоровье. И вы сможете отсутствовать несколько дней. Одновременно дадим в газете сообщение о какой-то аудиенции, данной вами в это время в Москве какому-нибудь лицу... Никому и в голову не придет!..

— Подите с богом, князь, — прервала государыня, — я должна все обдумать.

Она вернулась к письменному столу.

«Ах каналья, ах бестия, проделать из-за нее такой путь... Однако пора приниматься за письмо к Гримму...»

«Пишу вам из Коломенского, где по случаю нездоровья провожу в праздности уже несколько дней. Том Андерсон, моя любимая левретка, сидит напротив меня в кресле и лает в открытое окно на судно, поднимающееся по Москве-реке. А я, пользуясь временем болезни, решила написать очередную пьесу. Надеюсь, у нее будет счастливый конец. Вы

знаете, как я ценю в искусстве все радостное и веселое. По моей просьбе у нас даже Танкреда играют с благополучным концом...»

Коломенское.

Из дворца выходит князь Вяземский в сопровождении офицера в гвардейском мундире и в серебряной каске с черными перьями, надвинутой налицо.

— Карету князя Вяземского, — кричит слуга. Карета выезжает из ворот Коломенского на большую дорогу.

На следующий день карета, сопровождаемая эскортом гвардейцев, въезжает в Петропавловскую крепость. Эскорт остается у ворот, карета громыкает по крепостному двору.

Петропавловская крепость. В помещении коменданта князь Вяземский и комендант.

— По повелению матушки велено допросить арестантку доверенному лицу от государыни.

— За князем Александром Михайловичем посылать... или как? — усмехаясь, спрашивает комендант.

— Князя Голицына извещать не следует, дабы не плодить ненужных обид.

Князь Вяземский и офицер входят в камеру.

На кровати лежит Елизавета. Два солдата и капрал сидят на стульях в углу комнаты. Тускло горит свеча.

— Оставьте нас, — приказал Вяземский. Караульные вышли из камеры. Вяземский вопросительно посмотрел на гвардейца. Тот слегка наклонил голову. Вяземский встал и тоже вышел из камеры.

В камере остались двое: Елизавета, лежащая на кровати, и офицер, молча сидящий в углу.

Наконец с кровати послышался голос Елизаветы:

— Я тоже любила носить мужские костюмы, Ваше величество.

Офицер усмехнулся, снял каску, положил рядом. Длинные волосы закрыли лицо. Екатерина отодвинула волосы и потянулась было приподнять свечу, чтобы осветить кровать.

— Не надо, Ваше величество, — послышался резкий голос с кровати, — если вы хотите узнать, красива ли я, это надобно было делать несколько раньше. А я знала, что вы придете... Я давно поджидаю вас, Ваше величество.

— Мой приход, голубушка, ровно ничего не значит.

— Напротив, он означает, что Ваше величество действительно столь пронизательны, как об этом говорит вся Европа. И вы давно почувствовали, что я могу сообщить вам нечто, что никому другому не сообщу...

Приступ кашля прервал ее.

«Я не люблю лести. Но почему-то самая грубая лесть всегда обезоруживает меня...»

— ...Вы очень больны.

— Да-да... И притом в нынешнем моем положении...

— Я распоряжусь, чтоб впредь караульных вывели из вашей камеры.

— Вы действительно очень добры. Жаль, что мне недолго пользоваться добротой Вашего величества, этим ливнем благодеяний...

Она опять помолчала. Молчала и государыня.

— Итак, Ваше величество, — наконец сказали из темноты, — *она есть*.

— О ком вы говорите? — прошептала Екатерина.

— Вы поняли, Ваше величество... Августа... Дочь...

— Вы опять за свое?! Если вы позвали меня выслушивать наглые дерзости...

Екатерина вскочила и в бешенстве заходила по камере. И опять приступ кашля прервал императрицу.

— Время комедиантствовать мне не отпущено, Ваше величество. Итак, я могу рассказать вам то, что вы больше всего хотите знать и больше всего боитесь узнать. Но с условием...

Екатерина молча слушала.

— Вы отпустите на свободу.

Екатерина засмеялась.

— Вы не поняли. Не меня, Ваше величество. Меня отпустить на свободу уже не в вашей власти. А на свободу... вы отпустите их... всех, кого заточили вместе со мной. И я с вас страшную клятву возьму, что все так и исполните.

— Я добросовестно изучила вас, голубушка, по вашим показаниям. Никогда не поверю, что вас может волновать чужая участь.

— Вы не правы, это волнует *перед*... Очень боязно туда являться... с лишними-то грехами. Но, конечно, главный другой резон. Тут вы правы. — И, помолчав, она сказала: — Человек среди них... есть... Я много грешила с мужчинами... Но любила его одного... И сейчас люблю. Одно

воспоминание о нем сжигает... Но полно. Итак, клятву, Ваше величество!..

Опять наступило молчание.

— Ну что ж, голубушка, быть по-вашему. Клянусь...

— Спасибо, Ваше величество, вы оказались истинно добры. Продолжился ливень благодеяний... Итак, все это началось два года назад. Боже мой!.. Всего два года. Будто в другой жизни... Не со мной. Мне теперь кажется, что я тут и родилась... в этой тюрьме. Итак, это случилось...

1773 год. Замок Оберштейн. — Князь купил для меня тогда этот замок. И я жила там одна. Есть разные способы расставаться с мужчинами. Самый верный — притвориться чересчур влюбленной, и тогда ты ему быстро опротивеешь, и он бросит тебя, к твоему счастью. И есть единственный способ удержать мужчину — это показать ему, как он тебе надоел... Я сказала князю, что хочу пожить одна в Оберштейне. И страсть его тогда достигла предела. Он тотчас захотел на мне жениться...

В уборной принцессы в замке камеристка Франциска фон Мештеде помогала ей одеваться...

— Когда вы ее отпустите из тюрьмы, Ваше величество, не забудьте распорядиться, чтобы ей отдали все мои туалеты... она так их любила, — засмеялась Елизавета.

— Ах, госпожа, — говорит Франциска, — я все отдала бы, чтоб щегольнуть в таком платье!

— Ты еще так молода, милая, у тебя все впереди.

— А у меня для вас письмецо, госпожа, все от того же очень богатого господина.

— Седьмое послание за два дня! Ох, как скучно. Надеюсь, ты сказала ему, что я умерла и чтобы он меня больше не беспокоил.

— Да, и он немедленно ответил: «Передайте письмо принцессе на тот свет!» Ах, он так богат!

— Я уже догадалась, милая, по той горячности, с которой ты передаешь его письма. Жаль, что богачи не молоды и не хороши собой. Природа заботится о равновесии.

— На этот раз исключение, госпожа: он очень молод и очень красив.

— Ну что ж ты молчишь о главном!

— Ах, Ваше величество, я никогда не могла устоять перед мужской красотой!

Екатерина вздохнула.

— Я приняла его за туалетом.

Камеристка вводит Доманского в уборную принцессы.

— Сударь, это слишком, — сурово начинает принцесса. — Мало того, что вы подкупаете мою прислугу и она ежедневно мучает меня вашими посланиями! Мало того, что вы посмели дать ей деньги, чтобы она проводила вас ко мне!..

— Но откуда вы знаете?

— Вы платите много, но я плачу больше... Как вы осмелились забыть, что я невеста немецкого государя?! Я завтра же попрошу жениха оградить мою честь!

— Вы грозите мне гибелью... Как странно! Неужели вы не поняли, что жить без вас... Убейте меня!

Доманский выхватил кинжал и протянул принцессе.

Принцесса расхохоталась.

— Дорогой мой! Оставим это для юных девиц пятидесятих годов, только что покинувших монастырь. Увы, я принадлежу другому поколению — у нас уже мало иллюзий. Так что уберите кинжал, и начнем говорить серьезно. Я заметила вас еще в Париже. На всех балах вы следили за мной из толпы. Но у вас беда... Вы слишком красивы, чтобы остаться незамеченным. Итак, зачем вам понадобилось завоевывать мое сердце? Только прошу: ни слова более о любви. Я видела любовь и могу сказать точно, молодой красавец, она вам не грозит.

Он усмехнулся, вынул табакерку, взял понюшку табаку, собираясь с мыслями, и спокойно начал:

— Итак, действительно мы следим... за вами.

— Мы?

— Мы.

— И давненько?

— Уже со времени Парижа. Вы блестяще образованны. Вы прекрасны. Вы изворотливы. Вы жаждете приключений... И еще есть одно обстоятельство. — Он помедлил и продолжал, улыбаясь: — Как любит судьба насмешничать, милая принцесса! Когда вы выдумывали все эти рассказы про Володимирскую принцессу... вы не знали самого главного.

Он остановился. Она с напряженным вниманием ждала.

— Вы удивительно похожи... — медленно начал Доманский. И опять замолк.

— На... кого? — не выдержала принцесса.

— На ту, за кого вы мечтали бы себя выдавать. Нет, не на принцессу Володимирскую! Никакого княжества Володимирского в России не существует... Но зато существует она.

Принцесса пожирала глазами Доманского.

— Ее зовут Августа. Не правда ли, подходящее имя для *августейшей* дочери русской императрицы от тайного брака с вельможей Разумовским? Думаю, она дала это имя своей дочери, чтобы никто не смел усомниться в ее происхождении. — Он усмехнулся. — Но императрица справедливо опасалась за ее судьбу после своей смерти. Поэтому ее вывезли из России, когда девочке было десять лет, и поселили тайно в маленьком городишке в Италии. Это сделал ее учитель, некто Дитцель, который и поведал все это на смертном одре отцу иезуиту. Ну, а тот уж нам... — И он замолчал.

Принцесса сидела потрясенная, не спуская глаз с поляка.

— А теперь будьте внимательны, Ваше высочество...

И он вынул из камзола и положил перед нею бумагу:

— Вот это — завещание императрицы Елизаветы в пользу ее дочери... той самой дочери.

Принцесса схватила лист:

— Подлинное завещание?!

— Это несущественно, те, кто составлял его, имели в руках истинные тексты завещаний русских царей, хранящиеся в царском архиве. — Он засмеялся и продолжил: — Итак, сейчас в России на троне безродная немка. И русская публика отлично знает, что сын этой немки и наследник престола рожден ею отнюдь не от несчастного супруга, убиенного Петра Третьего... Итак, остается Августа... *Последняя из Дома Романовых*. Последняя претендентка на престол! И если уж появиться ей на сцене, то сейчас, когда крестьянский царь Пугачев жжет помещиков!.. А Пугачева братом твоим сделаем!.. Смирим его и с ним соединимся! И дворянство все перебежит к тебе, когда поймет, что одна ты сможешь чернь успокоить... А тут и мы из Польши огонь запалим. — Он говорил исступленно, яростно. — Вся Конфедерация с тобой восстанет... В смуте исчезнет империя... Как бред... Не впервой нам сажать царя на Руси, коли слыхала про Дмитрия-царевича... — Доманский был в безумии; шептал, болтал: — Возмездие немке, растерзавшей Речь Посполитую... Возмездие!

Принцесса успокоилась первой.

— Но коли Августа действительно существует, отчего вы ее не призвали?

— Лицом она на тебя похожа, да не характером. Теремная она царевна: тиха, скромна, пуглива. За пальцами ей сидеть, а не царства завоевывать... Давно за тобой следим. И как от кредиторов во Франкфурте с пистолетом отбивалась...

Доманский поднялся со стула и торжественно объявил:

— Да здравствует Августа, дочь Елизаветы! Виват! Виват!

Она усмехнулась:

— Мой друг, я не люблю отбирать чужих любовников и чужие имена. Итак, запомните: никакой Августы нет. И никогда не было. Все это досужие выдумки... Существу только я, Елизавета, дочь Елизаветы, объявлявшая себя прежде принцессой Али Эмете Володимирской, ибо боялась открыть миру свое истинное имя, чтобы не претерпеть от врагов.

Ночь. Доманский и принцесса в спальне. Зажжен тот шандал — и в тусклом свете два обнаженных обессиленных тела.

— ... С ним я поняла: любовь похожа на смерть. Эта боль и нежность... Как я любила его! Но ту мечту я любила больше...

Елизавета замолчала. Молчала и Екатерина. Так они молча сидели в тусклом свете свечного огарка. Наконец Екатерина сказала:

— Пусть он помолится Богу за то, что я дала тебе клятву.

— Прощайте, Ваше величество, — засмеялись из темноты. — Мне умереть, вам жить. Что лучше, о, если бы знать?!

— Вам действительно скоро умереть... Неужели не хочется облегчить душу? Кто ваши родители? Кто вы на самом деле? Как ваше истинное имя?

— Вы слишком умны, Ваше величество, чтобы ждать от меня ответов. Я решила умереть Елизаветой. Я заплатила за это своей жизнью. И я умру ею... Все, что я вам сейчас рассказала, этому не помешает. Я освободила его, моя совесть чиста перед ним. И перед собою. Ибо вы никому не посмеете передать все это. Вы будете молчать о моем рассказе даже на Страшном суде. И те, кого вы вынуждены будете посвятить в эту тайну, будут молчать также. Я знаю цену своему поступку. И предвижу все, что случится с *той несчастной*. Но... я всегда грешила во имя любви.

— Прощайте, голубушка, я исполню свою клятву. Но на прощание я вам скажу: вы страшная!.. И много несчастных спасено будет с вашей гибелью. Вы и есть дьявол во плоти.

— Обе мы дьяволицы. Потому что обе — Королевы.

«Вскоре я уже была в Коломенском и впервые после „болезни“ позвала своего нового секретаря».

Кабинет Екатерины в Коломенском.

Завадовский с бумагами в руках восторженно смотрит на императрицу.

— Как драгоценное здоровье Вашего величества? Вы выглядите уже веселой.

— Запомните, молодой человек истинно великие люди не могут

прожить и дня без смеха и шуток, что бы с ними ни случилось. Печальны и надуты только глупцы.

— Но вы были столь больны, вы не выходили несколько дней.

— Ох, друг мой. — Она взяла его нежно за руку. — Я открою вам рецепт от всех болезней, — сказала она, не выпуская руки молодого человека. — Берете тяжелобольного, запираете его одного в огромную двенадцатиместную карету, везете за двадцать пять верст, заставляете выйти и отстоять торжественную обедню от начала до конца под всеобщими взглядами. Затем угощаете его двумя аудиенциями и одной беседой с приезжим коронованным глупцом. Даете ему подписать двадцать бумаг. Затем подаете ему обед, к которому приглашено еще пятнадцать человек, каждому из которых он должен оказывать внимание. Клянусь, уже в середине дня ваш больной будет весел, как птичка. И второй рецепт: работа, работа, работа. Но не забывайте: соединяйте делание с ничегонеделанием. Наконец, третий рецепт: окружайте себя веселыми, забавными людьми. Вот, например, граф Потемкин. Он так неподражаемо шевелит ушами и так презабавно передразнивает любые голоса! А что забавного умеете вы?

— Ничего, Ваше величество, — испуганно отвечал оробевший Завадовский.

— Вот так уж и ничего?

— Совсем ничего... Я только умею говорить всем людям приятное. Отец меня научил: злыми имеют право быть только умные.

Екатерина засмеялась.

— Вам не надо шевелить ушами. Вы и так далеко пойдете.

«Мне надо было непременно обуздать графа Потемкина. и, кажется, я изобрела не самый неприятный способ».

1776 год. Санкт-Петербург, Зимний дворец. «Еще в Москве в декабре я узнала о смерти всклепавшей на себя чужое имя. В начале года я вернулась в Петербург и готовилась отпустить всех. И, клянусь, я решила не трогать эту тень — эту злосчастную Августу. Я с нетерпением ждала рождения внука. Это должно было укрепить династию. Но боже, боже... Что случилось! Все эти несчастья... эти нестерпимые муки невестки... Я сидела у ее изголовья и ничем не могла ей помочь. Эти крики... И ее последний вздох. И несчастье сына. Его слезы... Все, все пережила я. Рушились все надежды... Как воспален мозг! Когда соколик увидел меня, он сделал то, что надо было сделать, — он зарыдал вместе со мной, как баба. И мы, обнявшись, плакали. И опять все надо было начинать сначала

— бездетный Павел, без жены и наследника... А в это время где-то рядом существовала эта Августа, которую в любой момент... И эти вечно бунтующие поляки!.. Как бы нам ни было плохо, мы не смеем забывать об обязанностях. Еще не сняв траур по несчастной невестке, я тут же связалась с герцогиней Вюртембергской и стала подыскивать Павлу новую жену. И вот тогда-то мне пришлось подумать об этой Августе. Как только сняли траур, я, как всегда, созвала в Эрмитаже свой избранный кружок».

Из Зимнего дворца Екатерина переходит в Эрмитаж. Сверкающие огромные залы, увешанные бесчисленными картинами, золотые рамы картин, мрамор эллинских статуй, роспись потолков... И никого. Она идет одна среди этого великолепия. «Меня окружает здесь множество замечательных предметов. Но мне они совершенно не нужны. Я очень похожа на киргизского хана, которому императрица Елизавета пожаловала огромный дом в Оренбурге, а он поставил во дворе этого дома палатку. И жил в ней. Так и я держусь во всем этом великолепии своего маленького угла».

Екатерина входит в маленькую залу в Эрмитаже. Здесь уже нет ни картин, ни статуй. Вокруг двух столов несколько мужчин упоенно играют в карты.

«Здесь находятся люди, которых я люблю. И здесь наконец я не чувствую себя зайцем, которого весь день травят борзыми. Но сегодня здесь меня интересовал только один человек...» В залу вошел Рибас. Екатерина милостиво улыбнулась ему — и Рибас тотчас поспешил к императрице. Она протянула ему руку. И он поцеловал ее в изящном безупречном поклоне.

«Сей хитрец, которого я тогда оставила в Петербурге, быстро обтесался и умудрился жениться на моей любимой горничной Настеньке Соколовой, незаконной дочери богача графа Бецкого. Эта пронырливая и остроумная женщина в курсе всех моих тайн, так что и муженьку приходится тоже доверять, что я делаю с удовольствием, ибо он не только сообразителен, но и храбр и, говорят, блестяще владеет шпагой. Я сделала его членом своего интимного кружка. Я счастлива высшим счастьем правителя. Я будто притягиваю нужных мне в данный момент людей».

Екатерина и Рибас уединились в стороне от играющих.

— У меня к вам вопрос, сударь. Я знаю, что вы ездили с секретным поручением графа Орлова. И по заданию Алексея Григорьевича пытались проверить ложные слухи о существовании некой Августы, якобы дочери покойной императрицы.

— Как проницательно выразилось Ваше величество: именно

ложные, — тонко усмехнулся Рибас. — Потому что никакой Августы не может существовать.

«Приятно иметь дело с умным человеком».

— Однако на всякий случай вам следует побеседовать с неким поляком...

— Вы имеете в виду, конечно, господина Доманского, — мило улыбнулся Рибас.

— Я стараюсь не запоминать имен подобных господ. Итак, я собираюсь непременно помиловать сего господина, учитывая его молодые лета и то, что авантюрера завлекла его в любовные сети... Но он этого пока не знает.

— О, милосердие Вашего величества!.. Значит, я смогу ему это сообщить... в обмен на точные известия, где, естественно по слухам, обитает сия фантастическая особа?..

— После чего вы сами отправитесь в те места...

— Понял, Ваше величество: чтобы лично убедиться в неосновательности подобных слухов.

1776 год, март. Петропавловская крепость.

В камеру Доманского входит Рибас с самой широкой из своих улыбок. И с порога начинает без умолку говорить:

— Ах, мой старый друг! Я жажду заключить вас в объятия!

Доманский с изумлением уставился на Рибаса, силясь вспомнить, откуда он его знает.

— Неужели не вспомнили? Ну? Ну?

— Господин Рибас, — наконец произнес поляк.

— Милейший, — обратился Рибас к караульному. — Принеси-ка нам пару бутылок вина по случаю приятной встречи.

К изумлению Доманского, просьба была тотчас выполнена, и две бутылки вина появились в камере.

— Рейнское и анжуйское, — объявил Рибас. — Какое предпочитаете? В этой крепости неплохое вино... И, главное, достаточно выдержано временем.

— К сожалению, я редко пользуюсь этим погребом.

— А я — к счастью, — сказал Рибас, разливая вино. — Итак, за ваше скорейшее освобождение! Как? Я не сказал вам? Вас очень скоро освободят. Это замечательное известие. Но есть и печальное... На днях скончалась наша общая знакомая. Да, ушла в лучший мир. Я поручил

показать вам могилу известной вам женщины.

Доманский сидел, молча уставившись перед собой.

— Как видите, более вас ничего тут не удерживает. Хотя нет, надо уладить перед отъездом вашим еще одно маленькое дельце. Вы сообщите мне город в Италии... где нынче... находится она.

— Кто? — прошептал Доманский.

— Та, которая погубила жизнь известной нам с вами женщины. Ведь если б вы не рассказали ей про злосчастную Августу...

— Проклятие! Откуда вы знаете?

— Ну-ну... Вы уже догадались откуда, — впервые серьезно сказал Рибас. — Итак, вы сообщите мне, где она. В обмен на скорейший ваш отъезд из крепости. Советую не упрямиться. Коли вы хорошо меня вспомнили — догадываетесь, что я все равно все о ней узнаю. Уж если пес пошел по следу... Итак: сначала вы мне послужите, потом я вам... Все-таки здесь прекрасный погреб, я всегда утверждал: пить вино надо в тюрьме! — Он поднял бокал: — За то, чтобы впредь вы не пользовались этим погребом!.. Я вижу: вы решились.

— Будьте вы прокляты, — пробормотал Доманский.

— Всегда ценю такое начало, — засмеялся Рибас.

Москва. На Кузнецком мосту торговали тогда французские лавки. Здесь было любимое место московских франтов — петиметров, как называла их тогдашняя сатирическая литература. Здесь они прогуливались, назначали свидания богатым московским девицам.

Тучный хозяин французской лавки, в котором с трудом можно узнать когда-то молодого и стройного слугу Рибаса, внимательно смотрит на щеголя в надвинутой на глаза шляпе. Сей щеголь и есть господин Рибас собственной персоной.

— Очень трудно узнать человека в этом борове, — сказал Рибас.

— Да уж, — будто речь шла не о нем, вздохнул хозяин.

— Но я попытаюсь, — сказал Рибас и неожиданно отвесил хозяину лавки великолепную оплеуху. Но рука его только просвистела в воздухе, ибо толстяк с поразительной ловкостью увернулся от удара. Последовала новая попытка оплеухи — и вновь толстяк, как матадор от быка, ушел от удара. — Пожалуй, я тебя узнал, — произнес Рибас.

— А я вас что-то не припоминаю.

Но в этот миг оглушительная пощечина достигла цели.

Толстяк поперхнулся, а потом сказал с нежностью:

— Ну конечно, узнал вас, хозяин! Рад вас видеть, господин Рибас!

— Русского языка так и не выучил.
— Нет никакой надобности, мой господин. Здесь по-русски говорят только подлые люди. Но не они мои покупатели.
— Ты понял, зачем я пришел?
— Опять!.. Опять!.. — застонал толстяк. — Бессонные ночи, скачки на лошадях... О, как я хорошо жил, сударь!.. О, зачем вы объявились?..

Вскоре в газете «Санкт-Петербургские ведомости» появилось объявление: «Из столицы выехал испанский дворянин Де Ри вместе со своим слугой».

Прошло несколько месяцев.

В этот вечер в Эрмитаже избранный кружок императрицы, как всегда, играл в карты. Играли в «макао» на двух столах. И каждый выигравший черпал ложечкой бриллианты из ящичка посреди стола. Екатерина, с вечной своей благодетельной улыбкой, глядела на играющих.

«Я стараюсь чаще затевать подобные вещи, чтобы слух о щедрости „Северной Семирамиды“ ослеплял европейские дворы. Мне приходится преданно служить своему образу. И этот образ доставляет мне немало хлопот».

Играют... И очередной выигравший, дрожа от волнения, лезет ложечкой за очередным бриллиантом. Горят глаза играющих. Игра, игра!

«В разгар игры, когда они алчно черпали бриллианты, вошел наконец тот, кого я ждала уже не один месяц...»

Как всегда, с открытой ослепительной улыбкой в залу вошел Рибас.

И опять они уединились с императрицей.

Игравшие, замороженные бриллиантами, даже не заметили этого.

— Давно вас не видела, господин Рибас, рассказывают, что вы были за границей?

— Да, пришлось много путешествовать.

— И как ваше путешествие, сударь?

— Весьма удачное, Ваше величество. Я путешествовал по Италии, и после многих приключений в одном из маленьких итальянских городишек мне посчастливилось наконец столкнуться с некоей особой.

— И какова она... сия особа? — усмехнулась Екатерина.

— Еще не старая, бодра телом.

— И ей известно, кто она?

— Несомненно. Хотя уверен: не питает никаких честолюбивых планов. Однако думаю, что жизнь сей особы вне пределов нашей державы

не отвечает интересам державы.

Екатерина помолчала, потом сказала:

— О всем, что вы выяснили, вы сообщите в дальнейшем посланному от меня доверенному человеку. Я не знаю сегодня его имени, но уверена, что уже вскоре он к вам обратится. Я благодарю вас за преданную службу, господин Рибас.

25 июня 1776 года французский посланник писал в Париж: «Есть здесь один молодой человек Рибас, испанец по происхождению, малый не без способностей и честный. Он женился на любимой горничной императрицы. Ее величество оказывает ему всевозможные милости. Она даже намекнула, что желала бы дать ему знаки отличия, но вместе с тем желала бы иметь из-за общественного мнения веские причины, которые оправдали бы подобные милости. По-видимому, рекомендация испанского короля произвела бы наилучшее впечатление...»

Впоследствии судьба была очень милостива к Рибасу. В 1784 году он был отправлен на юг к Потемкину, где участвовал в завоевании Тавриды. В 1789 году он захватил турецкую крепость Хаджибей, на месте которой им была основана Одесса. На исходе века он уже вице-адмирал Черноморского флота, генерал, кригс-комиссар и т. д. Но жажда интриг... Ах, эти интриги! На вершине могущества он продолжал участвовать во всех дворцовых интригах и...

1800 год. Карета Рибаса подъезжает к Зимнему дворцу.

Карета останавливается. Но никто из нее не выходит.

— Ваше превосходительство, — наконец осмеливается крикнуть лакей с запяток, — приехали!

Из кареты — ни звука.

Обеспокоенный слуга спрыгивает с запяток, открывает дверцы... и ему падает на руки господин Рибас.

— Ваше превосходительство! Господин Рибас!.. Умер! — кричит в ужасе слуга.

Так умер адмирал Рибас. Домашний врач случайно... совершенно случайно дал ему яд вместо лекарства.

«Этот Рибас был человек необыкновенный. Благодаря своему уму он сделался хорошим генералом и даже честным человеком», — написал о нем в своих воспоминаниях граф Ланжерон.

Но вернемся в 1777 год. В Царском Селе в парке на скамейке сидит Екатерина со своей вечной наперсницей Марьей Саввишной

Перекусихиной.

«Теперь осталось найти человека, которому возможно было поручить сию миссию. И я думаю об этом все время...»

Мимо скамейки проходит роскошный петербургский щеголь.

«Сад был открыт мною для публики, и я любила вот так сидеть и наблюдать за новыми модами, за человеческими физиономиями».

Даже не повернувшись в сторону императрицы, щеголь прошествовал мимо. Гордо запрокинута голова. В руках трость.

— Ишь какой важный, — усмехается Марья Саввишна, — и не оглянется!

— А годков этак десять назад ох как бы оглянулся! — добродушно улыбается Екатерина. — Видать, устарели мы с тобой, Марья Саввишна!..

«Но кого назначить? Рибаса не стоит. Он человек Потемкина. Григория Александровича в это дело не надо путать. Тогда кого?»

— Гришка-то твой, Орлов, — начинает меж тем Марья Саввишна рассказывать петербургские новости, — совсем с ума посходил. Хочет жениться на Зиновьевой Катьке, фрейлине, сестре своей двоюродной. Образумь его, матушка! Святое церковное постановление нарушает: сестра ведь. Не пройдет ему сейчас, это ведь не раньше!

— Да, это ты права. Пожалуй, они не простят ему, — задумчиво говорит Екатерина. И добавляет: — Да разве их, Орловых, остановишь? Безумны в желаниях и удовольствиях!

— Останови его, матушка. Погибнет он. — И Марья Саввишна зашептала: — Григорий Александрович Потемкин Совет решил собрать... Как Гришка-то поженится — Совет сразу будет. Брак отменят, а их обоих в монастырь постригут. Точно знаю.

— Да, Григорий Александрович человек решительный... Скажи, а любят его у нас?

— Очень. Двое — ты, матушка, да Господь Бог.

«Ну что ж, именно такой человек мне необходим. Всегда должен быть тот, кого очень не любят. Только тогда монарх может быть благодетелем... Значит, Совет? Ну что ж, кажется, я нашла себе человека...»

Да, я была уверена — этот безумец женится. Так оно и произошло. И когда Совет собрался, я не стала оказывать никакого давления. Я разрешила им свободное волеизъявление».

Июнь 1778 года. Кабинет императрицы в Царском Селе. Входят Панин и Вяземский.

— Слушаю вас, господа.

— Совет единогласно постановил... — торжественно начинает Панин.

«Никита Иванович Панин по-прежнему помешан на значении Совета. Эта игрушка кажется ему неким зародышем будущего ограничения власти самодержца. Горбатого могила исправит...»

— Совет постановил брак Григория Орлова расторгнуть и, подвергнув обоих церковному покаянию, сослать в монастырь. Абсолютным большинством мы так решили, матушка.

— Только граф Кирилла Разумовский был против, — поправил Вяземский и добавил с удовольствием: — Он сказал: «Еще недавно вы все были бы счастливы, коли граф Орлов удостоил вас хотя бы пригласить на свою свадьбу. Вспомните обычаи наших кулачных боев: лежачего не бьют».

— Абсолютное большинство голосов, — будто не слыша, повторил Панин. — Прошу вас, Ваше величество, подписать решение Совета.

— Не могу, — в ужасе прошептала императрица, — рука отказывается. Не могу подписать против человека, которому стольким обязана... Увольте, господа.

— Но это решение Совета, — в растерянности начал Панин, — речь шла о свободном волеизъявлении...

«Как он поглупел! Старость...»

— ...Не могу... Увольте, господа!.. Не заставляйте меня страдать!

И тогда вступил Вяземский:

— А я скажу по-простому, матушка: не можешь и не надо. Мы все рабы твои. И что тебе сердце подсказывает, то и исполним.

Дверь в стене неслышно отворяется — и появляется высокий сорокалетний красавец Семен Гаврилович Зорин, флигель-адъютант и новый фаворит императрицы.

«Он олицетворение мужественной красоты, но удивительный неуч. Я пыталась привить ему вкус к государственным делам и хоть как-то обучить его. Но он годится лишь громким голосом объявлять имена посетителей. Из него вышел бы отличный лакей. Впрочем, и это тоже талант...»

— Князь Григорий Григорьевич Орлов в приемной. Из Санкт-Петербурга пожаловал, — важно объявил Зорич.

Яростное движение Панина, Екатерина насмешливо глядит на него.

— Зови, душа моя, несчастного князя, — благостно обратилась Екатерина к Зоричу. — Ты ведь знаешь, я для него свободна в любое

время. — И, улыбнувшись, сказала: — Ступайте с богом, господа!

В кабинете Екатерины сидел Григорий Орлов, уронив голову на руки.

— И чего молчал?.. И зачем таился?..

— Не смел... не смел открыться, — бессвязно шептал Орлов.

Она нежно дотронулась до его волос:

— Ах, батюшка Григорий Григорьевич, все ты забываешь, что я прежде всего твой друг, потом твоя императрица... А уж потом — все наше прошлое, вся наша любовь... Вон указ Совета лежит. Что ж теперь делать, Гриша? Развод, да в монастырь?

— Извлекла она меня из бездны... Ангел она во плоти... Утешение она мое... И тоже Екатериной кличут... И как имя ее назову, тебя вспоминаю. Люблю только тебя! Сама знаешь... всю жизнь!

«До чего простодушен. Даже в хитрости... А все-таки приятно...»

Екатерина молча расхаживает по кабинету и наконец объявляет торжественно:

— Мое решение, князь: я назначаю молодую княгиню Орлову из фрейлин в мои статс-дамы.

— Матушка! — Григорий упал к ее ногам. — Из бездны спасаешь!

— Ох, Гриша, — гладила она по голове лежащего у ее ног Орлова. — Что мне из-за тебя вынести придется! Каким курцгалопом скакать между Потемкиным и Паниным!.. Я жалую ей также орден Святой Екатерины и бесценный туалет из золота... такой прекрасной работы, что, клянусь, не многие королевы могут таким похвастать!

— За что убиваешь благодеяниями? — бессмысленно шептал Орлов. — Из тьмы вывела!..

— Ах, Гриша!.. Не хватает мне тебя! Так не хватает сейчас... — Она посмотрела на него долгим взглядом.

— Никак стряслось что, матушка? — вдруг деловито спросил князь.

Она кивнула. Князь тотчас поднялся с колен, уселся на стул и внимательно взглянул на Екатерину.

— Женщина есть... для меня опасная... страшная для меня.

— Значит, и для нас страшная. Что твое, то наше!

— Привезти ее надо... в Россию...

— Привезу.

— Ох, Гриша. Ты отважен, да прост. Да некому поручить.

— Выкраду.

— Не надо так сложно, она не пугливая. Как птица ручная. Так

донесли мне. — И, помолчав, добавила: — Надо ее тем же манером... — Она остановилась.

— Каким манером? — прошептал Орлов.

— Ну как брат твой ту женщину привез. Корабль будет ждать тебя в бухте... Живет она на Адриатике, у моря. Тебе все Рибас расскажет... Но в дело его не посвящай. Вот так же на корабль ее пригласишь и... привезешь. Я Алексея послала бы, да нельзя ему в Италию. После того дела узнают его, живым не выпустят. А вы мне живые нужны. Что бы ни случилось, я знаю, вы моя опора.

— Все сделаю. Живота не пожалею. Я чуму в Москве победил. А уж женку к тебе доставить...

— Но запомни: ни одна душа... Августа ее имя... Августа Тараканова. Орлов в ужасе глядел на императрицу.

— Да, она есть... Неправду сказал старик Разумовский, — усмехнулась Екатерина.

— Много бы я дал, чтоб тогда это услышать, — засмеялся Григорий. И сказал торжественно: — Привезу ее к тебе, матушка, клянусь.

Она взяла со стола бумагу, надорвала, протянула Орлову.

— Это указ Совета. Почитай на досуге. Чтоб лучше запомнить, как любят тебя друзья твои... В Петербурге объявишь, что едешь в Швейцарию, в свадебное путешествие. Духу Вольтеру поклониться. Вот истинное свадебное путешествие любителя муз и философии, каковым ты всегда являлся...

Из воспоминаний графини Блудовой:

«Ах, Катенька Зиновьева. Я была еще ребенком в то время, когда состоялась эта шумная история с графом Григорием Орловым. Я не принадлежу к их поколению. У тогдашних девушек была чистота и наивность... Это наивность полевых цветов — фиалок и васильков. У нашего поколения куда меньше простоты и больше наглости. В июле 1778 года Орлов с молодой женой уехали из Петербурга в свадебное путешествие, кажется, в Швейцарию. Но потом весьма быстро возвратились. Отголосок этого события остался в прелестных стихах, сочиненных молодой графиней и ставших тогда такими модными:

Мне всякий край
С тобою рай.
Любимый мой,
И я с тобой».
Царское Село. Шесть часов утра.

Императрица встает с постели. Она в хорошем настроении. Она напевает: «Мне всякий край с тобою рай. Любимый мой, вот я с тобой».

Входит заспанная служанка Катерина Ивановна.

— Заспалась, прости Христа ради, матушка.

— Ох, Катерина Ивановна, вот выйдешь замуж, вспомнишь мою доброту, — добродушно ворчит Екатерина, — муж-то с тобой возиться не станет. Муж тебя...

Как большинство женщин, прислуживающих Екатерине, Катерина Ивановна не выйдет замуж.

Екатерина не любила новых слуг. Так и старились служанки рядом с императрицей.

В комнате появляется Марья Саввишна. Екатерина, напевая, трет щеки льдом:

Желанья наши совершились,
И все напасти уж прошли,
С тобой навек соединились,
Счастливы дни теперь пришли.
И поясняет Марье Саввишне:

— Жены Григория Орлова сочинение. Очаровательное!.. В Швейцарии сочинила. Посещение сих мест поэтический дар пробудило.

Пока императрица моется и совершает туалет, Марья Саввишна приступает к исполнению своей главной роли — сообщает последние сплетни:

— Странный Гришка-то вернулся из-за границы... Намедни князь Щербатов у него гостил. Стол, говорит, стал совсем скромный. Никуда с женой не выходят, в доме сидят... А на камзоле у Гришки теперь ничего не нашито — ни серебра, ни золота.

— А прежде был отменный франт, — улыбается императрица.

— Только с женой лижется целый день. Да говорят, она у него после возвращения из-за границы кашлять начала. Дохтура боятся — чахотка откроется.

— Да-да, печально, — равнодушно говорит императрица, — уже слыхивала. Григорий Григорьевич просит меня разрешить ему вновь за границу уехать на воды. Лечить бедную женщину... Только вернулся — и на воды просится. — Она усмехнулась. — Скажи, Марья Саввишна, что делают с любимой иконой, когда она устарела?

— Сжигают, наверное, матушка...

— Эх ты. Даром в России рождена, а обычаев русских не знаешь...

Икону, у которой лик сошел, *на воду спускают*. Так что пускай князь с супругой опять за границу едет. На воды. — И, обтирая лицо поданным полотенцем, императрица напевает:

С тобой навек соединились,
Счастливы дни теперь пришли.

Царское Село. Девять часов пятнадцать минут утра.

В кабинете Екатерина слушает ежедневный доклад князя Вяземского.

— Заслуживает внимания, Ваше величество, перехваченное сообщение прусского посланника о том, что, по слухам, некая княжна Тараканова, якобы дочь покойной императрицы, содержится в заточении в Петропавловской крепости.

— Уму непостижимо, — говорит Екатерина. — Присягу у людей берем, на Евангелии клясться заставляем, и буквально на третьи сутки вся Европа знает...

— Длинные языки, Ваше величество. Даже поговорка у нас есть: длинный язык до Киева доведет.

— А надо, чтоб до Шлиссельбурга. Да почаще. Порядка в стране больше будет.

— Но новость сия не столь уж печальна. Ибо точно они ничего не знают. Из того же донесения явствует, что они считают княжну Тараканову и покойную «известную женщину», захваченную графом Алексеем Орловым, одним и тем же лицом. Цитирую, Ваше величество: «По распространившимся в Петербурге слухам, княжна Тараканова, захваченная графом Орловым в Италии и увезенная на корабле в Россию, не умерла, а продолжает находиться в заточении в Петропавловской крепости».

Екатерина заходила по комнате.

«Батюшки родные! Они соединились! И эта, вторая, отдала покойной каналье свое имя... И никто никогда не различит... не поймет, кто есть кто! Ваше величество, вы создали новый персонаж в этой забавной пьесе, и, клянусь, это не худшее ваше сочинение».

— Какие еще новости? — обратилась она к Вяземскому.

— В Санкт-Петербурге ожидают большое наводнение.

И опять задумалась Екатерина. И опять заходила по комнате.

— Вода, Александр Алексеевич, наверняка затопит Петропавловскую крепость. Так что сегодня же переведите ту женщину в безопасное место — в Шлиссельбургскую крепость. В ту камеру, где сидел когда-то

несчастный Иоанн Антонович. Нам лишние жертвы не нужны...

— Милосердие Вашего величества спасает жизнь этой несчастной. И тем не менее я подумал... Никто не должен знать, что ее перевели. Пусть считают, что она погибла во время наводнения.

«Одно удовольствие с ним работать, читает, читает мысли».

— Так будет лучше для державы. Ибо следует побыстрее расстаться с этой тенью, могущей многих ввести в ненужный соблазн. Да и для нее самой... Уверен, известия о гибели этой женщины навсегда обеспечат ей спокойное существование в Шлиссельбургской крепости до конца ее дней.

Екатерина ничего не ответила, только приказала:

— Позаботьтесь, князь, чтобы закладывали карету. Я должна быть в городе во время наводнения. Следует ободрить людей.

Зимний дворец на следующее утро.

В кабинете Екатерины. Стоя у окна, Екатерина выслушивает ежедневный утренний доклад князя Вяземского.

— Боже мой, — говорит императрица, глядя в окно, — вся набережная затоплена. Много погибло?

— Жертв нет, — ответил Вяземский.

— Как удивительно! Наводнение, а жертв у нас нет. В других странах люди гибнут.

— У нас, Ваше величество, гибнут за царя, за веру и за отечество... Все благополучно обошлось.

— Ну что ж, я люблю, когда все благополучно. — И опять она посмотрела в окно. — Лодки плавают прямо по набережной, у дворца... — Императрица усмехнулась, потом повернулась к князю и спросила серьезно: — Еще есть какие-нибудь новости?

— Женщина — в Шлиссельбурге. Доставлена вчера вечером, но в городе уже слухи... Уже говорят, и, каюсь, не без нашей помощи, что в Петропавловской крепости погибла некая княжна Тараканова... В приемной уже дожидается граф Никита Иванович Панин.

Екатерина улыбнулась и вновь посмотрела в окно.

— Вы всегда произносите имя графа Панина с каким-то внутренним вопросом. Чувствую, вы все время хотите спросить: зачем я держу этого человека, давным-давно утерявшего всякое влияние, во главе Коллегии иностранных дел?

Князь молча склонил голову.

— Видите ли, друг мой, — благосклонно начала императрица. — Я

заняла престол среди бурной борьбы. Но вот уже который год, слава богу, царствую мирно. Этому я обязана известным принципам в управлении, каковые и вам надлежит знать. Прежде всего постоянство. Постоянство должно быть во всем. Постоянство всех в неуклонном исполнении моей воли мое постоянство по отношению ко всем. Это значит, когда я даю кому-то место, он может быть уверен, что сохранит его за собой до конца, коли, конечно, не совершит преступления или болезнь не заставит его покинуть сие место.

— А коли Ваше величество убедится, что ошиблись в выборе министра?

— Я оставлю этого человека на своем месте. И буду работать с его помощниками. Это не значит, что я стану его третировать. Наоборот, я сохраню видимость его влияния. Когда я узнала о победе графа Орлова при Чесме, я вызвала к себе главу военного ведомства. Как вы знаете, сей человек полнейший глупец... Но я хотела предупредить его о победе прежде, чем о ней узнает публика. Я позвала его в четыре утра. Он решил, что я собираюсь его за что-то распечь, и ворвался ко мне в кабинет с криком: «Простите, Ваше величество, но я тут совершенно ни при чем». — «Еще бы, — сказала я, — я это отлично знаю!» И рассказала ему о победе... Итак, у нас все всегда знают, что их места и привилегии будут сохранены за ними до смерти. И потому никому не надо беспокоиться и составлять заговоры. Вот почему граф Панин будет числиться главой Коллегии иностранных дел до своей смерти. Но, может быть, у вас на этот счет иное мнение, князь?

— Ваше величество, каждый раз, выслушивая ваше мнение, я счастлив сознавать, что думаю... ну совершенно... совершенно также, как думаете вы.

— Тогда зовите графа, — засмеялась императрица.

Князь Вяземский преданно служил своей государыне тридцать лет. И настолько сделался безгласной ее тенью, что перестал реально существовать для нее. Когда по болезни он ушел в отставку и вскоре умер, она даже не потрудилась сделать вид, что огорчена. Она попросту не заметила этого события. Она выбросила князя из памяти, как старую перчатку.

В кабинете Екатерины — князь Вяземский и граф Панин. Екатерина ведет беседу, по-прежнему неотрывно глядя в окно на залитую водой набережную.

— Ваш дворец затоплен, Никита Иванович? Говорят, вы ловите рыбу

прямо в манеже? Только не смотрите столь печально... Да, у нас несчастье. Кошунственно смеяться, скажете вы? О нет, кошунственно потерять смех в любых обстоятельствах. Все равно за бесчинства сей реки расплачиваться придется прежде всего мне. — И она обернулась к графу и ласково улыбнулась. — У вас, видимо, очень важная новость. И оттого вы посетили нас так рано, Никита Иванович?

— Посланники ряда стран, — важно начал Панин, — например, посланники Саксонский и Прусский, сообщают в перехваченных депешах, что во время наводнения в Петропавловской крепости погибла «известная женщина». Более того, они пишут, что ее нарочно оставили там.

— А о какой женщине идет речь, Никита Иванович? — совсем ласково улыбнулась императрица.

— О той, которая всклепала на себя чужое имя, была доставлена из Ливорно графом Алексеем Орловым и умерла. Так что это совершенная ложь, Ваше величество! — И Панин с негодованием взглянул на Екатерину.

«И глаз стал мутный. А когда-то зорек был. Стареют все. Я разлюбила старых людей, они напоминают мне мой возраст. Нет-нет, надо окружить себя молодежью. Виват, вечная весна!»

— Нам надо незамедлительно, — продолжал Панин, — разоблачить сей вздорный слух.

— Не понимаю... А зачем, граф? — милостиво удивилась императрица.

— Но... — изумленно начал Панин, — Европа... И европейские газеты...

— Ах, граф, — доброжелательно сказала государыня. — Это все такой вздор. Прежде, когда я была молода, я оглядывалась на любое слово оттуда, я радовалась любому знаку одобрения. Чтобы получить это одобрение, я написала горы писем Вольтеру и барону Гримму. Все завоевывала общественное мнение... Но с возрастом, Никита Иванович, я все чаще и с печалью понимала, что самое благоприятное мнение просвещенной Европы можно завоевать отнюдь не достойными поступками, а ценными подарками или попросту деньгами. Вы поступили плохо? Ну что ж, это вам будет стоить чуточку дороже — всего лишь.

— Так что пусть клеветают, Никита Иванович! — радостно подытожил из своего угла князь Вяземский.

Екатерина по-прежнему стоит у окна и гладит на затопленную водой набережную — на корабли, выброшенные на берег. И на золотой шпиль Петропавловской крепости.

«Она уже живет в слухах, эта странная княжна Тараканова... Нет, клянусь, Ваше величество, это не худший ваш персонаж».

Картина: на полотне изображена прекрасная женщина в изодранном, когда-то роскошном платье. Она стоит на кровати, и страшная вода уже у ее ног, и крысы лезут на постель. Легенда оказалась живуча. Через много лет, в 1864 году, на художественной выставке было представлено это впоследствии знаменитое полотно Флавицкого «Смерть княжны Таракановой во время наводнения в Санкт-Петербурге в 1778 году».

Екатерина, стоя у окна, все смотрит на набережную. Вяземский и Панин по-прежнему стоят у стола, тщетно ожидая продолжения разговора. Первым не выдержал Панин:

— Я свободен, Ваше величество?

Императрица спохватилась и обернулась все с той же улыбкой:

— Ох, простите, Никита Иванович, в голову пришел забавный сюжетец пьесы. О наводнении. — Панин взглянул на нее изумленно. — И никак вот не могу от него отделаться... Нет, недаром антрепренер в Москве зарабатывал на моих пьесах до десяти тысяч за представление. Они всегда имеют успех. И публика рвется. Я знаю, что многие наши тонкие ценители не находят их бессмертными. Но я всегда говорю: «Пусть, господа, кто-нибудь из вас сочинит получше. И мы тотчас же уступим ему место и будем наслаждаться его творениями».

«Да, это был самый удачный мой персонаж. Сия княжна Тараканова, погибшая во время наводнения. Теперь я могла быть спокойна: Августа — безликая тень и навсегда в Шлиссельбурге».

Но государыня ошиблась.

Прошло пять лет, и в 1782 году за границей, на берегах Женевского озера, после долгого тщетного лечения, скончалась от чахотки жена графа Григория Орлова Екатерина Николаевна. Ее надгробный памятник из черного мрамора и сейчас можно увидеть в кафедральном соборе в Лозанне. А вскоре весь Санкт-Петербург был поражен известием удивительным: Григорий Орлов, этот великий кутила, соблазнитель самых блестящих женщин столицы, этот бывший глава петербургской «золотой молодежи», сошел с ума, не выдержав смерти жены.

1782 год, октябрь. Кабинет Екатерины в Зимнем дворце. Шесть часов тридцать минут утра. Екатерина за столом пишет очередное письмо барону Гримму.

«Октября 25 дня 1782 года. ...Какой ужас! Я буду иметь, дорогой друг,

перед глазами весьма грустное явление в лице князя Орлова, который возвращается сегодня в столицу. Слава богу, граф Алексей Григорьевич опередил его и уведомил меня, что он и братья его не будут выпускать князя Орлова из виду по причине полного расстройства или, точнее, ослабления умственных способностей».

Кабинет императрицы. 9 часов 15 минут утра 2 сентября 1782 года. В кабинете Вяземский и императрица. Вяземский делает ежедневный доклад.

— К сожалению, князь Григорий, который прибыл вчера в Санкт-Петербург, сумел ускользнуть от своих братьев. Он бродит по городу, навещает знакомых и при сем говорит невесть что.

— Что же он говорит? — помолчав, спрашивает императрица.

— Про Божью кару, про какую-то Августу и много чего несвязного. В безумии он пришел в дом к князю Щербатову, где посватался к его племяннице. И тут же просил не отдавать ее за него: дескать, проклят он. Князь Григорий нес такое, что князь Щербатов вынужден был отказать ему от дома.

— Ну зачем же обращать столько внимания на бред больного? — прервала императрица. — Однако что же находчивый граф Алексей Григорьевич медлит?

— Много сил потратили Алексей Григорьевич с братьями, матушка! Да только вчера отыскиали Григория Григорьевича. Чуть не силой в карету его усадили и к себе в Москву увезли.

— Ну и слава богу. Вот и хорошо. Попроси, чтобы и впредь граф был столь же находчив, ибо поведение безумца будет теперь на его совести и *полной ответственности*.

Москва. Март 1782 года. Дворец графа Алексея Орлова.

Около конюшни стоял Алексей Григорьевич и восторженно глядел, как одного за другим выводили великолепных рысаков. И весело, чересчур весело болтал с братом. Григорий безучастно слушал его.

— Слава богу, из дому тебя вытащил. Да что же ты все молчишь? Неужто по Санкт-Петербургу тоскуешь? Ох, Гришка, ничего ты не понимаешь. Как мы тут весело живем в матушке-Москве. Какие гулянья у нас на масленой. И какое будет первое мая в Сокольниках!

Григорий с отсутствующим видом по-прежнему молчал.

— А балы, Гриша, какие! Иногда в вечер на Москве по сорок балов бывает. Девки из девичьих не вылезают — туалеты все барышням шьют. Один бал в Благородном собрании чего стоит. Экосезы, гавоты, котильоны... А какие барышни! Все помещики окрест дочек в Москву

везут. По четыре тыщи на каждом балу! У нас франты даже вальсон танцуют! При сем танце... не поверишь... даму берут за талию! Ну враги! Сущие враги! Куда там твоему Петербургу! — хохотал Алексей Григорьевич.

Хлопочет вокруг лошадей Алексей Орлов и по-прежнему преувеличенно бодро обращается к молчащему Григорию:

— А балы наскучат — езжай в Английский клуб. Ах, какие там умники! Что тебе твой граф Панин! Они так политику обсудят... А какая игра! Пятьдесят тысяч за ночь проиграть можно! Бостон, пикет... У нас так в Москве к игре пристрастились, что танцевать на балах некому. А чудачки наши московские! Да-с, любим щегольнуть чудачествами. Я на днях выезжал на паре, так на запятках у меня были трехаршинный гайдук и карлица, левая коренная у меня была с верблюда, а правая — с собаку, — хохотал граф. — А какой у меня повар! Сущий враг! Индеек откармливает трюфелями, орехами и рейнским вином отпаивает... Да ты, чай, не слушаешь?

— Значит, ты тоже женился? — вдруг как-то странно спросил Григорий.

— Ей-ей, Григорьюшко, пока ты по заграницам разъезжал, — постарался пошутить Алексей.

— Покажи жену.

Из дома выходит молодая женщина с ясным простым лицом.

Алексей подводит ее к Григорию.

— Жена моя Евдокия Николаевна. А это брат мой Григорий — восстал сегодня с одра болезни.

Григорий кланяется. Евдокия Николаевна целует Григория в щеку а он бессмысленно на нее смотрит. Алексей Григорьевич чуть заметно кивнул жене. И она так же молча ушла.

— Ну что? Нехороша?.. Нехороша, да безропотна, потому как по-старому воспитана, в уважении к супругу. Я долго думал — красивую взять или добрую? Красивых-то я насмотрелся. И взял добрую.

— Ох, как ты веселишься, Алеша, — вдруг отрывисто сказал Григорий. — А на душе у тебя, поди, кошки скребут, — и он вдруг засмеялся. — Деток-то у тебя нет!

— Пока Господь не дал, — растерянно ответил Алексей Григорьевич, — но надеемся.

— И не даст, Алеша. Потому что уж очень хочешь ты детей. Не будет их у тебя. За шутки наши не будет...

— Опять бредишь!

— Пусть из Санкт-Петербургу... из дому моего... ее туалетец мне привезут золотой, — бессвязно сказал Григорий.

— Какой туалетец? — терпеливо спросил брат.

— Ну, который государыня, полюбовница моя прежняя, жене моей покойной к свадьбе подарила...

— Зачем он тебе, Гриша? — все также терпеливо, как с ребенком, продолжал разговор с братом граф Алексей Григорьевич.

— Скучаю по разговору с покойницей... Я как голову положу на тот туалетец посреди ее флакончиков, тотчас разговор слышу.

— Какой разговор, Гриша?

— Жены-покойницы. Все говорит: «Не будет вам, Орловым-то, счастья. За ваши грехи меня у тебя забрали. За то, что шутить часто изволили».

— Послушай! В себя-то приди! И опомнись!

— Не хочешь... Неужто забыл, как император всероссийский подышать воздухом у тебя просил? А ты и пошутил. А потом совсем с ним пошутил — за горло его... И с нею... с той женщиной... совсем отменно пошутил: в Петербург доставил на смерть. И как она от чахотки, так вот и жена моя от чахотки...

— Замолчи, — в бешенстве прохрипел Орлов и схватил брата за руку.

— Больно, — равнодушно сказал Григорий. И прибавил: — И я вот... вослед за тобой тоже пошутить рискнул.

Алексей устался на брата и только прошептал:

— Да ты что?

— Будто не знаешь? Врешь, все знаешь! Она тебе все говорит. Оба вы злодеи... За горло взяла она меня, — он засмеялся, — как ты императора... Вот ту, настоящую, я и привез...

Алексей в ужасе смотрел на брата.

— Послушай, брат, я скоро уйду к жене-покойнице... Чтоб мне там поменее мучиться: пусть она ее из крепости освободит. Тихая она, как птица ручная. В монастыре пусть поселит. Там ей самое место. Обещай! Как я уйду, поедешь к ней и скажешь: дескать, так и так, полюбовник твой сделать это велел, иначе на том свете проклинать тебя будет... — Он замолчал.

— Значит, ты... — тихо выдохнул Алексей.

— Угу... Шутку твою повторил. Всю. Целиком. От корабля до крепости. Да вот жена моя шутку не выдержала. Прекрасна была и чувствительна. Как поняла ту шутку — гаснуть стала... Не хочу я здесь более. Я старался, поверь. Лежал сколько дней в комнате — все старался.

Отпусти меня к ней, Алеша.

— Побойся Бога...

— Я всегда меж вами был первый, — продолжал Григорий, — первый чины получал, первый к трону стоял, во всем я был первый... Так что и в смерти мне быть первым. Христом-Богом прошу: не сторожи меня. Яду не дашь — голову разобью. О тот туалетец... А то еще хуже, — прошептал он, — убегу в Петербург. И ее зарежу. Ты нашу кровь знаешь...

Алексей замолчал. Григорий посмотрел ему в глаза долгим взглядом и облегченно засмеялся.

— Ну вот... И слава богу... Как дед — пни мою голову!

В парадной зале дворца за круглым столом сидели пять братьев Орловых. Лакеи неслышно подавали блюда. В молчании шла эта трапеза.

Наконец Григорий поднялся и сказал:

— Ну, пора, Ваши сиятельства, господа графы. А я меж вами был князь. Давай, Алеша, из твоих рук.

Алексей молча протянул ему кубок с вином.

— Спасибо, уважил. — Он взял кубок и залпом осушил его.

— До дна, — засмеялся он и поставил кубок на стол.

13 апреля 1783 года.

В парадной зале на столе, покрытом парчовым покрывалом с золотыми галунами, лежало тело Григория Орлова, одетое в парадный мундир генерал — фельдцейхмейстера. У изголовья священник читал псалтырь и стояли в карауле двенадцать офицеров.

Братья Орловы выносят гроб из дома. Множество людей собралось во дворе.

Как писал очевидец, «братья вместе с сотоварищами и пособниками его по незабвенному 1762 году при великом стечении народа понесли на плечах своих гроб к последнему пристанищу — Донскому монастырю».

Впоследствии всезнающий секретарь посольства Саксонского двора Георг фон Гельбиг в своей книге «Русские фавориты» подробно описал последние дни и похороны Григория Орлова. И указал, что граф был отравлен.

Из письма Екатерины к барону Гримму:

«Раз двадцать я извещала Саксонский двор, чтоб убрали отсюда ничтожного секретаря. Но Саксонский двор находит, по-видимому, его сообщения прелестными, так как не отзывает его. Но если и после последней попытки, сделанной мною, его не уберут отсюда, я прикажу

посадить его в кибитку и вывезти за границу».

1784 год. Москва.

Открылась золотая решетка, и из ворот дома графа Алексея Григорьевича выехала его роскошная карета.

«На следующий год весной решил я ехать к государыне. Она была тогда в зените славы: присоединили Крым. Да и Амур не оставил ее своей стрелой: фаворит у нее был молодой и любимый. И решил я, что пришло мне время исполнить Григорьеву просьбу и что в счастье своем не сумеет она отказать мне».

Зимний дворец.

В кабинете императрицы — Екатерина и граф Алексей Григорьевич.

— Прости, матушка, что побеспокоил тебя посреди трудов твоих великих!

— Ну полно, Алексей Григорьевич! Разве забыл, что меня можно беспокоить в любое время. Я так привыкла, что меня все беспокоят, что давно уже этого не замечаю. Меня заставляют читать, когда я хочу писать, и наоборот. Мне часто приходится смеяться, когда хочется плакать. Мне не хватает времени, чтобы просто подумать хоть одну минуточку. Я должна работать! Работать, работать, не чувствуя усталости ни телом, ни душой, больна ли я, здорова ли! В начале царствования я работала по пятнадцать часов в день. Думала: вот налажу дела, полегче будет. А все то же самое! И притом все сама: устраиваю браки моих фрейлин, издаю журналы... Кстати, о журналах — я сейчас этим как раз занята. Это так важно для общества — иметь хороший журнал. И так трудно это сделать у нас в России. Уж очень мрачны у нас господа литераторы. Вот, к примеру, господин Новиков издавал журнал «Трутенъ»... Да ты не помнишь, ты тогда на войне был... И вот сей господин из номера в номер нудно обличал взятки. Да-с, у нас воруют. Но почему об этом нужно скорбеть из номера в номер? Почему публика должна все видеть в черном свете? Ах, господа русские литераторы! Почему вы все время требуете от всего рода человеческого совершенства, ему не свойственного? Пришлось журнал закрыть... Но все-таки от Европы отставать не хочется. И вообще правитель должен знать общественное мнение. И решила я опять издавать журнал «Собеседник». Ты, конечно, читал?

— Мы в Москве больше рысакими интересуемся, матушка.

— А жаль, — увлеченно говорила императрица. — Большой успех имею у публики. Я сама издаю журнал... анонимно. Но какие тайны у нас в

России! Конечно, все всё знают. Я вызвалась печатать в моем журнале критические замечания публики. Вот, думаю, в Европе подивятся свободе нашей! А от ненужных вопросов убережет мое имя... Но я забыла о наших мрачных литераторах. Немедленно господин Фонвизин сделал вид, что не понимает, кто издает журнал на самом деле... И начал спрашивать. Как ты думаешь, что заинтересовало его теперь, когда мы достигли таких успехов в войнах, в образовании, в законодательстве? «Отчего много добрых людей мы видим в отставке? Отчего в прежние времена шуты чинов не имели, а сейчас имеют?» Я на это так ответила: «Потому что в прежние времена в России свободоязычия было поменьше». Ох, чувствую, опять жить нам без журнала!.. — Она усмехнулась и сказала графу: — Прости, все жалуюсь. Сам понимаешь: женщина. Пожаловаться-то хочется! Ну да ладно. Петербургские дела наши тебя не интересуют. — Она вздохнула. — А Гришу вспоминаю часто. Прошлый год был для нас тяжелым: брат твой ушел от нас. Затем граф Никита Иванович Панин, князь Александр Михайлович Голицын. Всех так сразу Господь к себе призвал.

Граф Алексей Григорьевич молчал.

— Как здоровье жены твоей?

— Спасибо, матушка государыня. Детей только нет. Взял молодую, думал, сына рожу. Кто род продлит?

— Ну, сын у тебя есть, Алексей Григорьевич.

— Незаконный отпрыск, Ваше величество. В ноги кланяюсь, что чинами его не забываете. Он у меня с малолетства в полк записан. Но законных наследников нету... Нас было пять братьев — и ни одного законного наследника. Ни у кого. Видать, за грехи, матушка.

— Ну, говори, зачем приехал, — усмехнулась государыня.

— Грех сними с наших душ, Ваше величество. Просьбу Гриши передать хочу. — Он помолчал. И, внимательно взглянув на государыню, спросил: — Ты хоть знаешь, матушка, как Григорий-то умер?

— Пожалей меня, Алексей Григорьевич, — торопливо сказала императрица. — Избавь от рассказа. Достаточно я пролила слез. Неделю на кровати колодой валялась. Неужто еще хотите?

— Гришкину волю сообщаю, — твердо начал граф. — Возьми ее из тюрьмы. Пускай в монастыре живет... Кроткая она, не опасная тебе. Прости холопа за слова безумные. Казни меня, но волю Гриши исполни.

Императрица холодно смотрела на графа.

— Мимо Шлиссельбурга ездить боюсь... Все тебе исполнил Гришка. И я тоже... Сердце пустое стало. Жить незачем... Исполнили мы твои поручения!

Глаза его бешено сверкали, это опять был опасный человек со шрамом.

— Поручения?! — вдруг в ярости вскочила императрица. — Неужто ты думаешь, что я давала бы поручения вам, если б вместо проклятых юбок на мне были ваши штаны?! Проклятие родиться женщиной! Вы были моими руками и глазами! Потому что баба! В этой стране, где баб презирают... где муж всему голова... я была...

— Исполни волю Гриши, матушка, — мрачно повторил Орлов.

Она быстро ходила по кабинету, пила воду стакан за стаканом. И вдруг успокоилась и проговорила с нежной улыбкой:

— Ну что ж. Коли вы стали так пугливы, герой Чесменский, и боитесь ездить мимо Шлиссельбурга, — она светски засмеялась, — теперь вам придется бояться ездить мимо Ивановского монастыря.

— Спасибо, матушка! — Орлов низко поклонился в ноги государыне.

— Ступай с богом, Ваше сиятельство, — ласково сказала императрица.

Орлов вышел из кабинета. Тотчас открылась дверь в стене, и в кабинете появился молодой красавец Александр Дмитриевич Ланской, генерал-адъютант, новый фаворит императрицы. — Как странно, душа моя, — начала государыня, нежно глядя на молодого человека, — я сейчас подумала: Григорий Орлов и граф Панин всегда ненавидели друг друга, а умерли почти одновременно. Вот, должно быть, удивились эти люди, столь не любившие друг друга, тотчас встретившись на том свете!..

Орлов ехал в карете и весело разглядывал в окно весенние петербургские виды.

«Значит, Ивановский монастырь... Ишь, что задумала! Императрица Елизавета предназначала сей монастырь для призрения вдов и дочерей заслуженных людей. Вот и определила она туда ее собственную дочь. Кстати, игуменью там Елизаветой кличут. Значит, должна она будет обращаться к надзирательнице своей: „Мать Елизавета“. Да, умеет повеселиться государыня!..» И граф расхохотался.

Эпилог. Последняя встреча

Прошло еще десятилетие, наступила середина девяностых годов. Век умирал. Уходила эпоха. Уже сошли в могилу и Вяземский, и Грейг, и Радзивилл, и Потемкин, а Екатерина и граф Алексей Григорьевич все жили. В Петербург графа звали редко, да и сам он туда не стремился. Но переписывались они с императрицей с удовольствием, и милостями она графа не оставляла.

«На днях я послала ему табакерку с изображением памятника во славу его и написала: „Я в табакерку насыпала бы табаку, батенька, растущего в моем саду. Но опасаясь, что дорогою высохнет“».

В редкие наезды в столицу граф непременно бывал принят государыней.

Из записок последнего секретаря Екатерины Второй Александра Моисеевича Грибовского: «Граф Орлов хоть в отставке и живет в Москве, но находится в особой милости у государыни. Он пишет ей письма и всегда получает от нее ответы... В нынешний приезд граф привез к нам в Санкт-Петербург свою совсем молоденькую дочь Анну. Я никогда не видел графа прежде. Но по высокому росту, нарочитому в плечах дородству и по шраму на левой щеке я сразу узнал героя Чесменского».

— Проси... Проси Алексея Григорьевича!

Граф Орлов в аншефском мундире с шитьем входит в уборную государыни. Он ведет за руку девочку в белом кисейном платье, с великолепными бриллиантами.

— Боже мой... Значит, это она?! — восторженно и ослепительно улыбается императрица.

— Да... Дочь моя Анна. Мать померла сразу после родов. Сирота она у меня. Гувернера взял, воспитателей, да разве мать заменишь?..

— Слыхала, слыхала, что души в тебе отец не чает, — ласково говорит Екатерина девочке. — Ну, подойди ко мне, дитя мое!

Девочка, потупясь, испуганно подошла. Императрица нежно подняла ее лицо, целует в щеку и произносит торжественно:

— Твоему отцу мы обязаны частью блеска нашего царствования. Это он присоветовал нам послать флот в архипелаг и пожег турок.

Девочка совсем оробела, молчит.

— Ну, поиграй с собачками, — смеется императрица и милостиво указывает на двух левреток, лежащих в корзине. — Познакомься: это

семейство сэра Тома Андерсена-младшего...

Анна подходит к собачкам и молча стоит над ними, не зная, что делать. Собачки лают.

— Ах, мой друг, — говорит императрица графу, — поверь моему предсказанию: эта девушка много хорошего обещает!

Анна Алексеевна Орлова, оставшись после смерти отца двадцати с небольшим лет и оказавшись владелицей величайшего состояния в России, отказала многочисленным женихам. И до смерти жила в постоянных молитвах и постах, будто замаливая чьи-то грехи. Она купила землицу близ новгородского Юрьева монастыря, перебралась туда на постоянное жительство и перенесла в монастырь прах отца и братьев его, Григория и Федора...

Девочка пытается играть с собачками.

— Ну до чего хороша, отбоя от женихов не будет! — говорит Екатерина и с улыбкой обращается к графу: — Вы редко посещаете меня, Ваше сиятельство, но я часто думаю о нас, о нашей жизни. Вот и дожили до революции... Наказал Господь... Вот и увидели, батюшка, как чернь на глазах благодуществующих монархов отрубила голову христианнейшему королю... А ведь началось-то все при нас с тобой. Со слов наших поспешных о свободе, о просвещении... Да и сама я, что самое смешное, всю жизнь посвятившая себя идее самодержавия, как безумная, повторяла все эти злые умствования французских мудрецов и гиппохондриков — Руссо и прочих... И вот теперь, в старости, я узнала: свобода лишь призрак обманчивый, ведущий к хаосу и к бездне. А эти наши разговоры о реформах... О, теперь я поняла... Бойтесь перемен, самодержцы! Ибо лучшее всего лишь враг хорошего.

Алексей Григорьевич с почтительной усмешкой слушал императрицу.

— Да тебе это все неинтересно... рысаки!.. — Она засмеялась. — Прости, мой друг, но я все больше чувствую, что совсем одна. Они все умерли, не с кем поговорить... Они все ушли...

Неслышно открылась потайная дверь в стене, и появился черноволосый красавец, этакий «изящный французик», Платон Александрович Зубов, князь, генерал-адъютант, последний фаворит Екатерины.

— Ах, Платон, душа моя... — начала императрица.

Увидев Орлова, фаворит сделал капризную гримасу и исчез в стене.

— Ох, своенравный ребенок... Да-да, знаю, ты с ним не ладишь,

Алексей Григорьевич. А я всегда мечтала, чтобы вы все... все дружили... Этот гениальный ребенок так скрашивает мое одиночество. — Она вздохнула. — Вечная весна! — Она улыбнулась. — Кстати, все хочу спросить тебя, граф: почему ты живешь один? Жена твоя померла уж давно... Ты здоров, слава богу. И вообще богатырь хоть куда! Да и дочери твоей лучше будет. — Императрица нежно взглянула на девочку, игравшую с собачками. — Решайся, граф, я так люблю устраивать чужие браки...

— Не могу, — усмехнулся граф, — после нее — все... Жену взял, думал — получится... И — ничего! Все пустое.

Императрица с изумлением поглядела на него, а граф бессвязно шептал:

— Будто опоила она меня. Забыть ее не могу... Вот ведь как оказалось-то: во всю жизнь только ее и любил...

Екатерина глядела на него с возрастающим удивлением.

— Ты о ком... Алексей Григорьевич?

— Да ты что, матушка?.. — прошептал Орлов.

Екатерина продолжала смотреть на него с величайшим изумлением.

— Ваше величество... Неужто всерьез... не помните?..

— Ах, Алексей Григорьевич, — благодетельно сказала императрица. — Мы учредили три десятка новых губерний, выстроили, почитай, сто пятьдесят новых городов, заключили четыре десятка мирных трактатов... А сколько было войн и побед!.. И притом писали прозу, стихи, пьесы... Ну как тут нам все в голове удержать-то? — И она засмеялась и совсем ласково сказала: — Не сердись, Христа ради, Алексей Григорьевич, но... не помню.

Ветер, ветер метет снег по двору Петропавловской крепости, где когда-то был Алексеевский равелин и была та могила...

И заброшенная часовня во дворе разрушенного Новоспасского монастыря...

И старинный шандал с экраном в том таинственном старом доме: она томно склонила прекрасную головку, и все гадает, и все глядит в серебряный таз на маленькие кораблики с горящими свечами...

Table of Contents

[Эдвард Радзинский Княжна Тараканова](#)
[Домики старой Москвы](#)
[Несколько точных дат](#)
[Действующие лица: «Орлов со шрамом»](#)
[Действующие лица: Она](#)
[Действующие лица: Рибас](#)
[Действующие лица: Екатерина](#)
[Секретный агент в XVIII веке](#)
[Два рассказа об одной женщине](#)
[Двойные игры в галантном веке](#)
[Орлов: Сиятельная любовь](#)
[Христенек: Чин майора](#)
[Орлов: Последние письма](#)
[Франциска фон Мештеде: Призрак свободы](#)
[Тюрьма в галантном веке](#)
[Голицын. Следствие: «Кто она?»](#)
[Екатерина в Москве](#)
[Голицын: «И все-таки — кто она?»](#)
[Екатерина: «Кто она?»](#)
[Голицын: «Кто она? Кто она? Кто она?»](#)
[Орлов: Дым отечества](#)
[Голицын: «Кто она?!»](#)
[Опять несколько дат](#)
[Тайна Княжны Таракановой: Версия](#)
[Эпилог. Последняя встреча](#)